

Игорь Мазуренко

*Траурная
весна*

проза



Игорь Мазуренко

Траурная весна. Проза

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42831775

ISBN 9785449696106

Аннотация

Книга поэта-философа-психолога Игоря Станиславовича Мазуренко (1957—2019) «Траурная весна» о любви – уходящей эпохи мрачных времен без улыбок. Проза поэтическая, философская, мистическая. Автор – мастер хаоса, нагромождение многогранных конструкций длится вечность – в рассказах в одно предложение! Мастер мгновения нанизывает, как бисер, слова жемчужные на нить любви. Уникальная книга для психологов, писателей, мистиков-эротоманов, философская бесконечная загадка слова.

Содержание

Предисловие	8
Ада	10
Агония	13
Смутное представление	16
Выстрел	24
Глоток сатириона (Сагура)	29
1	29
2	32
3	34
4	36
5	39
6	41
7	44
8	47
9	50
10	53
11	57
12	59
Старая пьеса	62
Старая пьеса 2	67
Deja vu	71
Фаталитет	83
1. Фаталитет	83

2. Затмение	92
3. Хроника	100
4. Отступление	108
5. Темные крылья	116
Ночь комедианта	122
Конец ознакомительного фрагмента.	124

Траурная весна

Проза

Игорь Мазуренко

Фотограф Анатолий Евлашкин

Редактор Глеб Титанян

Редактор Левчук Людмила

Иллюстратор Людмила Захарова

© Игорь Мазуренко, 2019

© Анатолий Евлашкин, фотографии, 2019

© Людмила Захарова, иллюстрации, 2019

ISBN 978-5-4496-9610-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



Автопортрет

*Вдруг он увидел губы, сочиненные им однажды,
«которые верили в неизбежность поцелуя».*

*Его творение улыбалось навстречу творцу,
не подозревая о написанной сочинителем – судьбе.*

(Л.А.)

Предисловие

Мне никогда не удавались романы, только предисловия и катастрофа первых глав... Бессюжетный роман так и не написал. Всё как-то пробавляюсь рассказами. Не печатаюсь давно, стало неинтересно. Постепенно из моей жизни ушли благодарные читатели, друзья, близкие. Да мне и не нужно их много (когда душа одна отозвалась, не нужно мне признания иного).

Ни сегодня, ни вчера – не наступит моё время. Помните в «Меланхолии» реплику хранителя музея перед портретом автора в запасниках: «Так и будет висеть, пока какой-нибудь сумасшедший его не откроет».

И заметьте, многие темы, мотивы, персонажи кочуют из рассказа в рассказ. Так что, собственно, всё написанное мною, есть один не заканчивающийся роман.

Треть жизни я провел во сне, треть на вокзале. Совершеннейшая загадка – последняя треть: в ней есть, что скрывать. Даже во сне, – который единственно приготавливает нас к смерти, к стыду, иногда воспитывая отвращение к страху.

Мне казалось – сплошные сумерки, слякоть, оперный те-

атр вокзала, мутные времена, – а ныне – спокойная, ежевечерняя мысль: после смерти письма пишутся тяжелее стихов... Троекотие в скобках – три актерские слезы, ироническая дальность, – но как зловеще одинока точка за скобкой – после смерти (*post mortem* кончилось все скандалом, а потом забвение). Вот такой я незабываемый.

Насмешка вечности:

долгую жизнь плотью стремиться к свету и после жизни с запоздалой печалью ощутить прохладу, – легчайшая душа твоя – только она ждала света, а он нестерпимо ярк, никого не встретишь там, где на самом деле нет теней, а звуки отмеривают глубину (осознания).

Счастливее всех смертных после смерти – путешественники: новые облака, бесконечные равнины и ни одного случайного попутчика.

Игорь Мазуренко, Феликс Бренн, И.С.М.

Ада

рассказ

Удивление было чрезмерным, и он сам, ежеминутно поминивший о мере, считавший себя или простым смертным, или божественной иллюзией, или уникальным вместилищем пороков, или наивным мальчишкой, не поверил собственному ознобу, когда между деревьями на краю поляны промелькнуло светлое подобие коня, а мгновением спустя к нему уже подходила Ада, никогда не знавшая о нем и не напоминая о себе в самые угрюмые часы, и он не отводил взгляда от ее улыбки, заполнявшей пространство его удивления, улыбка открывала радостную тайну первых слов Ады, которые он спешил услышать, наслаждаясь предчувствием нового позабытого смысла, поселившегося в уголках ее губ — да, ночью стоило брести по безнадежно пустынной улице, упирающейся в парк, огромный парк, где и днем легко затеряться и привыкнуть к тишине и путать времена года, ступая по подсохшей после растаявшего первого снега палой листве, упрятанной осени, сохранившей лучшие воспоминания о ней, в первые рассветные часы неправдоподобно теплого январского утра с лучами изменяющейся улыбки Ады — он видел все тело, плывущее навстречу, но важнее и удивительнее была улыбка, которая уже затаенно обещала смя-

тение и судорогу, а упоение, скрытое в уголках губ и смеющихся глаз, должно было разлиться невиданным покоем, бархатным ночным покоем, о котором они только догадывались много лет назад, юные и наивные, боялись друг друга и не представляли себе, как могут быть прекрасны произнесенные имена, произнесенные телами, темнеющими без заоблачных песен, и он еще успел подумать: так плывет душа и так смертельно влюбляешься в тело ею влекомое, без слов и жестов, но понимаешь, богиня – всегда обещание и поэтому утренняя прохлада незаметна, а тело Ады, легкое и светлое, приближается все медленней, как мучительно сладостная разгадка озноба, охватившего его, не поверившего собственным глазам: светлое подобие коня без всадника или всадницы, промелькнувшее между деревьями на краю поляны самого безлюдного парка, светлое подобие, светлое подобие, – и он сам произнес имя незнакомой женщины и вот она рядом, ее губы шепчут его имя, которого он не знал, и ее волосы, светлые волны волос накатывают на его лицо, и озноб проходит и на короткое мгновение ему вспоминается другая женщина, юная всадница такой недалекой яви, но уже не остается времени и сил вспомнить ее имени – ослепительного подобия нескончаемого страдания, и боль не успевает вспыхнуть, и он шепчет, поет непонятное, незнакомое, но такое желанное имя, удивляясь теперь невесомости своего тела, несущего невесомую и теплую нежность Ады, ветерки и ручьи ее вздрагивающих рук и ног, и в глазах его, счаст-

ливых, застывших остается далекое подобие светлого коня – пасмурное январское небо, и на холодеющих губах – незнакомое, но такое желанное имя.

1989г.,

газета «Северный Кавказ»

Агония

рассказ

Он снова и снова возвращался к окну вагона, но плавное движение не прекращалось, встречные поезда опрокидывали, сминали медленную робкую мысль о случайности или призрачности лица, лица-сожаления, лица-упрека, вспыхнувшего за стеклом остановившегося некоторое время назад в сумеречном без единого огонька, признака жилья, снежном поле поезда на параллельном пути, так, наверное, редко бывает, успел подумать он, редко, чтобы посреди снежной пустыни остановились два поезда на несколько мгновений, и тут же его слабое удивление от посторонней мысли вспыхнуло и обожгло кожу лица, потому что в вагоне напротив, в окне напротив отодвинулась занавеска и к стеклу приблизилось женское лицо с выражением настороженного ожидания, дрогнуло, и он почувствовал на себе пристальный неподвижный взгляд, будто бы мучительно длилось узнавание, перемешанное с неверием: невозможно, нет, невозможно, — он непроизвольно наклонился к заледеневшему стеклу, вглядываясь, как отчаянно иногда пытаешься подробней рассмотреть нечто во сне и потому просыпаешься, он и теперь почти проснулся: в обыденной яви сквозь два стекла на него смотрела она, странница его одиночества, любимая и утерянная так недавно, увенчавшая недолгую, как небес-

ная мелодия, историю обыкновенной жестокостью, так слова, ненужные и невозвращающиеся, а он подхватил их жестокий простой смысл и выстроил нелепую улицу, по которой ему брести и брести, не заглядывая в окна, но догадываясь о происходящем по мелькнувшей тени, по тающему смеху, не невинному (равнодушное незнание случайного прохожего), а чувственному (зрящий вопреки рассудку), превращающему дрожь стыда в животную дрожь и судорожные толчки задышающегося ритма, гибкие и ломающиеся контуры чужого соития в перспективе жуткой улицы затемненных домов, – час спустя можно и посмеяться над подгнивающими плодами болезненного воображения, но молчать после ее слов, понимая, что они не должны быть последними ее словами, другие, пусть не искренние, но последние, достигшие слуха, его слуха, более привыкшего к особой иронической низковатой мелодии ее голоса; и чужие обострившиеся в фиолетовом свечении уличного фонаря черты ее лица, и ее глаза, с ненужным вниманием следящие за проезжающими автомобилями, ускользающие от его взгляда, – все это последнее входило в его сознание, немеющее вместе с телом, слегка вздрагивающим от порывов легкого студеного ветра, и красные облака над горизонтом, предвещавшие завтрашние ветра, темнели, и он вспомнил: завтрашние облака, завтрашние ветра так и останутся в будущем, и он их не увидит, – рама вагонного окна напротив дрогнула и плавно двинулась в сторону, откуда мчался он, одного вдоха хватило, чтобы оцепе-

нение, сковавшее его, прекратилось, и он бросился по коридору вагона, не отпуская взглядом ее лицо, плавно уплывающее назад, лицо женщины, испуганной внезапным воспоминанием, лицо, источающее отчаянный свет, смертельная бледность растерянной женщины, целительницы и убийцы, любимой и... любимой, лицо, еще некоторое время, жившее в ночном беззвездном небе над холодными темными снежными полями без единого деревца, без единого огонька.

21 апреля 1989г.,

газета «Северный Кавказ»

Смутное представление

Новелла

Только я с ним заговорил, а он возьми да исчезни, дурацкий город, все в нем не так, как вчера, а выглянешь из окна: он тут как тут, сидит на скамеечке напротив и читает письмо, а так как все письма пишутся одним человеком, то и начинаются одинаково: послушай, – а голоса-то и нет, сразу поймал в сети и следишь, как шевелит губами, угадать дальнейшее не представляет труда, бедная дикарка, ты повстречалась не ко времени, когда единственный путь в тысячелетнее царство, описанный и не пройденный, только варварам и доступен; городские выступы, уступки, переулки, перестуки – каменное – каменное, поэтому дребезжит трамвай, набирая скорость, и это успокаивает бедную дикарку, поменявшую несколько имен.

Ярким сентябрьским вечером, исписав восемь страниц увесистой тетради в кожаном переплете, Хроникер внезапно почувствовал приятную усталость и, снисходительно уличив себя в достойной опiske: сноскарб, прилег, не раздеваясь, и заснул. Проснулся он в начале третьего ночи в абсолютной тишине, только кто-то по-иному повторил его описку: ужасноска. И тут же он услышал визг тормозов под окнами. Следом – стук женских каблучков, спокойная походка,

никакой торопливости. И выглянул в окно. Женская фигура приближалась к подъезду дома напротив. Хроникер не успел рассмотреть подробностей фигуры, только длинный плащ и короткая стрижка женщины. Она на мгновение обернулась, посмотрела, как ему показалось, в его сторону, он отшатнулся и, улыбнувшись своей мнительности, снова приблизился к стеклу, женщина медленно сползала на каменный пол подъезда без слышимого стона или крика, медленно и устало. Хроникер несколько мгновений наблюдал за ней и вздрогнул, когда автомобиль, стоивший метрах в двадцати от подъезда, сверкнул фарами, взревел, развернувшись почти на месте, и, набрав сразу же скорость, исчез из поля зрения.

Темное пятно на полу подъезда было неподвижно. Хроникер отыскал на ощупь сигареты, закурил и вышел на улицу. Поворачивая за угол дома, он знал, что будет делать: выбросит сигарету и, если женщина очнется, перенесет ее к себе в квартиру и вызовет врача.

– Странно, – только и сказал он, не обнаружив лежавшей минуту назад женщины.

Не было и следов. Ни крови, ничего. Все окна дома были темны. Не докурив вторую сигарету, Хроникер обошел вокруг дома, но и на другой стороне было темно. Он неохотно вернулся в свою квартиру и заварил кофе. С чашечкой постоял у темного окна. Часы пробили три раза. Спohватив-

шись, Хроникер нашел на столе толстую тетрадь в кожаном переплете, полистал и, добравшись до последней даты, отсчитал восемь страниц, выдрал их, пошел в ванную и щелкнул зажигалкой. Когда листы сгорели, он открыл воду и смыл пепел. Выходя из ванной, он услышал удар часов. Половина четвертого утра.

Куда же он бежит, когда следует всего-то свернуть на боковую аллею, там много деревьев, стена, отдышаться, расправить скомканный листок бумаги, уцелевший листок, и совершенно успокоиться, потом, вернувшись на главную аллею, отыскать свободную скамейку, с удовольствием следить краем глаза за двумя девушками на скамейке поодаль, одна из них курит, вторая читает и так сосредоточена на чтении, что слышится ее тихий голос.

– Какая глубокая старина!.. Сколько может быть этой книжке? – спросила она.

– Я боюсь определить точно. Приблизительно конец семнадцатого века – середина восемнадцатого...

– Как странно, – сказала Вера с задумчивой улыбкой. – Вот я держу в своих руках вещь, которой, может быть, касались руки маркизы Помпадур или самой королевы Антуанетты... Но знаешь, Анна, это только тебе могла прийти в голову шальная мысль переделать молитвенник в дамский carnet. Однако все-таки пойдем, посмотрим, что там у нас делается.

Девушки поднимаются и уходят, а он, убедившись, что

они далеко, еще раз расправляет листок и, напрягая глаза, пытается разобрать небрежные торопливые строчки: бедная дикарка, совершившая несколько успешных самоубийств – летом, ранней зимой, следом – повстречалась не ко времени, когда мне было до...

Недоразумение, случайный прохожий – и дикарка исчезнет, потому что ей нельзя говорить: что ты делаешь? Если только дождь – и никто не радуется твоему появлению, поступай, как с дождем: радуйся. Когда-нибудь дождь станет воспоминанием, воспоминание – эликсиром, тяжелая голова – невесомой, и смутное представление о собственном облике взбунтуется, потребует немедленных изменений, смут, забытая сказка перечитает тебя невзначай поздней ночью – сладкое средство от бессонницы, сказка располагается у изголовья и мнит себя философской притчей, это происходит ночью, и ты не подозреваешь, как раздражает сказку отсутствие нескольких страниц: ну почему ты поступил с ними так по-варварски, странноприимный дом, тьма голосов, свет голоса (бедной дикарки), угрюмая птица в клетке черепа: опасайся голосов, доносящихся с улиц, – далее несколько страниц отдано наивным рисункам – опасение или фантастическое доверие к перу, ускользнувшему на волю, где влажная листва шепчет на языке темных стрекоз: сбудется, сбудется – тишь.

Погоди, не ускользай, бедная дикарка, в сумерках слишком много места для сна, а бедной дикарке следовало бы пошире раскрыть глаза, в сумерках насмешливый шепот темен и может взволновать обещанием усталых осенних тайн, погоди, еще не сон, а дождь, мерные капли на близкую у окна листву, и последний трамвай совсем не громко в такой-то тишине, теперь город пуст, как сад, позднее время, конец тысячелетия, и наивная мечта о битве, ты нашептываешь, не подзревая, что сама обречена уцелеть, последний лист повести, последний лист сожженного дерева – и тебя обречен разглядеть мальчишка, совершенно спокойный интерес к неведомому существу, необъяснимо пленительному и завораживающему, как ручей. Бедная дикарка научится у этого мальчишки смеяться и даже пройдет с ним до прохладного ручья, а там превратится в изумрудную ящерицу и потеряется в траве, а мальчишка только и засмеется твоим смехом, увидев отражение в ручье...

Ее больше нет, они разбудили тебя неуместным весельем, словно разыгрывали на сцене, лишенной всех признаков сцены, комедию пробуждения человека и не догадывающегося об исходе, печальном исходе, так просто: подняли шторы, и тонкий луч удивленно остановился на лбу спящего, и ты еще открыл глаза, как тебе сообщили в два голоса:

Ее больше нет. – Какая нелепость! – Только и успела выпорхнуть в окно. – Мы открыли двери, а сквозняк... – Сколь-

ко смысла! Бесплотность – такое противоречие. – Форточка насквозь. – Если хочешь, мы поищем вместе.

А вот и невесомость – магическое свойство речей в два ручья, прозрачность каждого, но что тебе от прозрачности, если ручьи, в нескольких шагах – один, за поворотом – другой, вольются в реку, прохладную реку, в ней столько речей, что плавное течение полноводной реки не позволит заподозрить о печальном исходе твоего дня. Бедная дикарка, сколько столетий потребуются, чтобы я изучил твой язык, такой простой и неуловимый, сумрак или рассвет, колокол или ожидание, закрытые безнадежно двери или гроб, – понимание так близко, но ты, бедная дикарка, и не позреваешь, что кто-то не может знать твоего языка, всё так просто – дорога, дороги и единственный повстречавшийся ручей, грезящий о полноводной реке, но достигающий только твоего лба и дрожащих от ожогов пальцев.

Но он бежит, успевая додумать: бедная дикарка, никогда нам не встретиться на пустыре, я держусь поближе к домам, унылое место для прогулок, так и знаешь – несколько неверных шагов, и загорится лицо в темном окне, и волшебный июнь станет горьким августом, превратится в пустынный декабрь блее лица в темном окне, как же бежать от зовущего голоса, уставшей вглядываться в темное облако бедной дикарки?

Да и кто мог увидеть? Прилежно спали, здоровый сон; могла ли она обернуться? Нет, такого рода прощальные милости не в ее характере; оборачиваешься, когда еще не переступил настоящего времени, когда настоящая минута длится, длится из жалости, только не ритуал.

Попытаться вообразить некоего случайного наблюдателя, разочарованного наблюдателя, и испугаться: если нас повсюду подстерегает хотя бы одна случайность, то даже глубокой ночью – эта случайность оказывается нелепо бодрствующим наблюдателем. Может быть, именно поэтому он вернулся на рассвете пешком, но все еще спало, ни огонька, ни прохожего, только совершенно нереальный трамвай без пассажиров, медленно одолевающий крутой подъем, совершенно успокоил, и через несколько минут усталость повела его в далекий дом, в придорожных кустах у дома он увидел труп собаки и только отметил: вечером она скулила, а они прошли мимо молча, думая каждый о своем. Вернее, он молчал, но не думал, а выл, не пытаясь придумать нужную фразу: она все равно бы смолчала.

Из мрака только и наблюдают, слушают, но кто разглядит, что он понаписал в таком длинном письме; а потом колеса повисли над пропастью, он вышел из автомобиля и подумал: письмо она не получила, так и должно было произойти, письмо сгнуло, и вместе с письмом – невиданная нежность

и отчаяние, теперь не повторить, теперь он будет лаконичнее и ироничнее, сколько лет прошло, слава Богу, ни единого свидетеля постыдного откровения, да и так он сделал все необходимое, даже не показал жалости, оскорбительной жалости, о которой думал до последней минуты, пока не распрощался с ней у самого дома безвременной ночью, ночью без ветра и звезд, он сам стал ветром и умчался от ее дома, чтобы не закричать в абсолютной тишине, потому что вернуть ее было невозможно, потому что все звезды и одна его звезда скрылись, чтобы не напоминать, чтобы не вспоминал, не каялся в несовершенном, в несказанном, чтобы не слышал приглушенный толстыми стенами плач ребенка, который не мог и ведать о нем, убегаящем, теряющем слух и зрение слепой ночью в городе без часов.

19 марта 1987г.,

газета «Северный Кавказ»

Выстрел рассказ

Он проснулся июльским утром, чистым прозрачным утром и вспомнил недавний шелест дождя, вздохнул, ощущая особую телесную радость, радость-воспоминание о бесчисленном множестве счастливых пробуждений, улыбки и ветерки и пронзенную лучами изумрудную зелень в окне – волшебная мальчишеская вселенная, повисшая на упругих нитях предвосхищений (пред-удовольствия – сказал бы нынешний) небывалого дня.

Сознание, его недобрый наставник в строгих одеждах, напомнило – час ранний, и он слегка покосился на лежащую рядом смуглую девочку, его жену, они повздорили вечером из-за пустяка, оставшегося пустяком на широком письменном столе (клочок бумаги с торопливой записью ни о чем), но поздним вечером сие представлялось важным, «перечеркивающим прошлую нелепую ложь» – «во имя спокойствия», и – как долго перекрещивались их шепоты – как долго он чувствовал близкое судорожное дыхание ее кожи – пока время не замерло, пока время не превратилось сначала в медлительное, а затем в стремительное течение двух неразличимых тел; он не помнил, когда они заснули, а сон его был покоен и нетороплив, снилось ему бегство из когтей зимы в край пасмурный и невеселый: будто приютили

его странные люди, не называвшие своих имен; в огромной комнате он находил в любое время высокую женщину в темном, отходящую от окна с благожелательным ожиданием его слова, кивающую – и несколько шагов к книжному шкафу, непременно найти нужную единственную книгу и устроиться в кресле у высоких белых дверей; мужчины, молодой и старый (отец и сын?), склонившись над столом, листали тяжелый альбом с фотографиями, которые было так трудно разглядеть ему, поднимали головы, и его удивляли улыбки мужчин, застывшие и тревожные, и только когда он, зачарованный сумеречным безмолвием, заметил в окне опускающуюся на ветвь дерева усталую птицу, женщина подняла глаза от книги и мягко произнесла:

– Разве ты не знаешь, что уже умер?

И он проснулся, покосился на лежащую рядом жену, – губы ее, слегка приоткрытые, хранили выражение незаслуженной обиды, обыкновенная ревность к необъяснимому, упорно необъясняемому, – мы прошли до конца аллеи, и ты спрятала свои ладони в моих и пообещала ждать до самой смерти – день устал, присел и умер (впереди зима – незнакомая барышня, доведшая до самоубийства старший класс одной классической гимназии), я не хотел отпускать твои ладони, но ты так настойчиво обещала, пасмурная весна, времена весны – зима, осень, лето, – пасмурное, пасмурное, какая жалость, что у твоего обещания не было даты, и я потерял-

ся, блуждая от смерти к смерти, – клочок бумажки, пустяки, никакого смысла, только отзвук настроения, только отзвук, истории не продолжают вечно, обрываются, как отзвук, только и всего.

Он проснулся июльским утром, внимательно посмотрел на спящую жену, оделся и вышел с единственным желанием раствориться в утре, молчать (теперь – молчание!), но первая же случайность опрокинула такое невинное желание, он оказался опять в четырех стенах, только этажом ниже, в квартире доброй смешливой старухи с неким невообразимым именем, которое он никогда не старался запомнить; старуха угощала его ароматными папиросками собственной набивки (на круглом столе, окруженном пыльными книжными шкафами, вечно красовалась машинка «Метрион» и коробка с гильзами), и теперь ему было сказано: курить и отвечать на десяток вопросов.

– Не правда ли, это у вас не первый брак?

Он с интересом разглядывал ее подвижное лицо без морщин, улыбался, пока она с преувеличенным вниманием читала торопливые вчерашние строчки на случайном клочке бумаги, внимательно и как никогда серьезно, несколько строчек – мы прошли до конца аллеи – тень двинулась от острого подбородка старухи, закрыла напудренные щеки и лоб: – «Вы не должны были этого писать, – сказала стару-

ха усталым молодым голосом; – бедная девочка, она читала, она не должна была этого видеть, почему вы совсем не суеверны?»»

Все, все верно, счастливо избежав когтей зимы, хлад, глад, провожатые могут удалиться, хлад, глад, перестук колес успокаивает, и отправляешься в края пасмурные и невеселые; – только уже не проснуться, и провожатых не было. Чисто выбеленные стены реальности, не может быть страха в четырех стенах: еще одна ароматная папироска, – они уже смеются прекрасным июльским утром, потому что в этой квартире сохранилось великое множество старых ненужных вещей, но что с ними поделаешь, да, да, пусть себе живут, как например, эта милая вещица, никогда не попадавшаяся на глаза, поблескивает перламутровыми белками, выглядывая из приоткрытого ящичка бюро, и он радуется случайному открытию, это крохотный револьвер, давно растерявший своих родственников, давно позабывший запах дамской перчатки. Всемирная история изящных вещей, улыбается он, как опасны изящные вещи, жестокая гимназистка зима...

– Курите, можно курить, – поощряет его старуха, – «мы прошли до конца аллеи, беззаботно смеясь, пока небо не разгневалось и не исчезло».

– Да, – сказал он, отводя взгляд от перламутровых белков.
– Тогда я пойду, приготовлю кофе, – сказала старуха, под-

нимаясь, – а вы не стесняйтесь, пока... курите...

Глоток сатириона (Сатура)

Новелла

forma dat esse rei!

(форма дает вещи бытие)

*...ты подивисься на превращение судеб
и самих форм человеческих и на их
возвращение вспять... (А.)*

1

Эти двое разыгрывали любовную сцену в парке... Прекраснолодыжная дева, благовоннолонная невеста... Будто бы я бросался с темной Левкадской скалы в хмельную пучину, исходил потом и ямбами и шептал тяжелыми, влекущими на самое дно губами: Лесбия Коринна Латония, – было именем одним, но не многими; и квириты утруждали слух, сотрясаясь, подобно дубам в бурю, от неумолимого Эроса.

Страдание и месть, месть и страдание, пустыня подходит к морю, море подступает к пустыне, – старая история, но... Удивительная черепашья мысль все еще не может доползти до моих пальцев, верно, требуется жало, пробьющее пан-

цирь, и пальцы вздрогнут, и вечный незнакомец произнесет за спиной еще не вырвавшуюся из-под пера ящерицу-фразу.

Прекрасные холодные лица жалят на исходе ночи черепную твердь неумолимым молчанием, безумная ночная бабочка бьется о своды черепа, щекочет, доводит до отчаяния, – и ей не вырваться, хотя часы ее сочтены, а мой ужас наивен: теплая пелена сна растворит знакомые лица, но присутствие незнакомца сторожит приближение сна, незнакомец не весел и деловит:

– Меня интересует письмо, лежащее в кармане вашего плаща, и поверьте, я сделаю все (а в моей власти многое), чтобы вы ушли из этой комнаты со спокойной совестью. Прошу вас, передайте мне это письмо... Предупреждаю, еще несколько минут вашей недоверчивости или недомыслия, как угодно, и я буду вынужден сообщить вам несколько фактов, знание которых отравит всю вашу последующую жизнь: медленнодействующий яд, – желаете?

Невероятным усилием удерживая в глотке рвущийся на волю хохот, я достаю из кармана плаща конверт, совершенно чистый без адреса незапечатанный конверт и, не оборачиваясь, протягиваю незнакомцу. Я чувствую затылком нервную шелестящую нетерпеливость его пальцев и закрываю глаза при первых звуках голоса незнакомца, медленно и вдумчиво читающего летящие стремительные строчки:

Я не умру, не скроюсь, не вернусь.
Зови меня, но тень не поминай
И новых песен не слагай во имя
Покорных пленниц и скупых владычиц.
Волна земли сметет и влажный сад,
И все пути, хранящие следы
Пленительного бегства. Будь спокоен.
Я вымысел от правды отделю —
Предам огню без боли, без печали.

Я вижу ее пальцы, стиснувшие перо, и застывшие вокруг зрачков протуберанцы ревности, опалившие последние строчки, и вздрагиваю: неправдоподобно спокойный голос незнакомца:

– Это ее почерк, но меня не интересует ваше поэтическое состязание. Торопитесь, вы прекрасно понимаете, о каком письме я веду речь...

Последние усилия, увы, тщетные, – и вырвавшийся на волю хохот мечется, разбрасывает по темной комнате листы злополучного черновика...

2

Задержите под любым предлогом, – говорила дева, не поднимаясь с ложа, мягкотравного ложа; юноша, кудри склонив, слушал ее; спи, кифарэд сладкоустый, сладостью песен других нынче упыюсь... – Погодите, – молвил недалекий Трисмегист, – эти двое разыгрывали любовную сцену в парке, никто не мешал им насладиться в полной мере: там благовоннолонная невеста лежала, море стремилось к ней всей пеной и кораблями...

Если кто-то в действительности меня знает, я погибла. Она и не подозревает, что я слышу ее, что ее узнать можно именно по этой фразе, нескончаемому «я погибла». Несколько минут невидимых простым глазом, я прохожу, не замедляя шага, продолжая странным образом слышать утихающий голос, даже оказываясь в глубине боковой аллеи, прохладной и темной.

Он полон рек, и плен его нетороплив, и в речи скованы слова-галерники. Мне трудно представить его на самом деле одиноким; какое одиночество, когда вокруг возлюбленные тени, какое наслаждение молчать, какая мука слышать его молчание; а солнце заходит, и последние лучи согревают стену только несколько печальных минут, тогда я думаю: через несколько десятков лет, только несколько десятков лет

в этом воздухе, среди этих деревьев также вздохнет молодая женщина, влюбленная женщина вздохнет прохладным ветром и теплым рассеянным лучом – и вдруг почувствует, как долог и пленителен ее вздох, а меня не будет; я вижу лицо этой женщины и знаю, что она никогда не увидит моего лица, другие люди, которых еще нет на свете, пойдут этой аллеей, может быть, бросив случайный взгляд на нее, на нее, – а я почувствую в это мгновение их взгляды, они веселы и светлы, и случайны и недолговечны, как последнее теплое дыхание лучей на моем лице.

Я не настолько всесилен, чтобы рассмотреть человека с больным взглядом, который стоит рядом с ней, которому она говорила о луче; он не проронил ни слова, потому что смотрел на нее, пытаясь запомнить ее глаза и едва шевелящиеся губы, пока не рассеялись лучи. Я и не заметил, что возвращаюсь туда, где сладок дым и горек яд, что шаги мои медлительны и невесомы, и я не вижу лиц многочисленных прохожих, обходящих меня стороной. Если кто-то в действительности меня знает – я смешон. Помни, что ты говоришь и кому говоришь, когда говоришь себе, – шептал я, уже стиснутый двумя шеренгами зданий.

Совершенно несущественно, кому она говорила о лучах, да, да, следует дожидаться лучей, первых ли, последних, и вспомнить...

3

Хаос, который зовется дружбой,
хаос, который зовется любовью, —
нам ли перебирать песчинки, расправлять бахрому,
превращать ослов в людей, — воскликнуло
несколько голосов, в числе коих были голоса
Лесбии Коринны Латонии Левкастиды
Лаиды Люцины Октавии. — Хаос, — сказал
презрительно Трисмегист, оделся и вышел.

Чувствовалось приближение майской грозы, духота наводила на счастливые молодые мечты о самоубийстве, после праздника, каких бы это не стоило мучений, следует тщательно обдумать, как скрыть от всевидящей явные симптомы болезни, которую блаженной памяти старинный знакомый называл «фэбрис эротика».

По обыкновению праздник удался, и роковая неизбежность скуки возбуждала аппетит, женщины непрерывно курили. Список гостей состоялся наполовину, Анна пришла с ученым мужем, Юлия как всегда без мужа, цветовую гамму женских нарядов составляли лиловые, голубые, зеленые и серые тона. Юная свояченица, дьявол во плоти, разносила крюшон. Старый знакомый мирно страдал в беседке с бокалом светлого вина, он любил страдания и, только стра-

дая, чувствовал себя уверенным, с некоторой высокомерной невинностью озирая окружающий мир больным взглядом; он боялся сделаться чьим-либо орудием и дорожил длительностью страданий. Как могут, думал он, люди не понимать, какой муки стоит мне их равнодушие и невнимательность, люди и звери видят во мне существо, подобное им, когда я – иное, когда я – часть воли, вечно стремящейся делать добро...

Почему-то не пришел актер, с блеском исполняющий роль чёрта (у Достоевского), перевоплощение для него настолько мучительное и сладостное, что он продолжает быть чертом в повседневной жизни, за это его терпят и зовут в гости, хотя часто выставляют за дверь, он не обижается: его сокровенная мечта – швырнул бы кто чернильницей... Но я боюсь промахнуться и залить только что наклеенные обои.

Не пришел меценат, вероятно, все еще прикованный к своему жилищу непрерывными размышлениями о сне блаженного Иеронима: цистеронианец не есть христианин.

Не пришла робкая небожительница, но прислала с Юлией, которую боялась смертельно и которой поверяла свои многочисленные тайны, небольшую записку, объясняющую отсутствие как роковую враждебность судьбы. Всевидящая бросила записку на туалетный столик, явно не дочитав, и заговорила с Анной, весьма тяготящейся присутствием мужа...

4

Лейтесь, слезы, под веслами скорби.
Хор в облаках: О возлюбленной тени...

Вот я, несколько моложе настоящего, много угрюмей прошлого, катастрофически зорче будущего... И сколько не поворачивай эту голову, сколько ни смейся над остывшим пеплом речи, рассвет не приблизится, а ночь не станет убежищем. Торжественные осенние сумерки подталкивают к высокопарности, но аллея закончилась, мы остановились в растерянности и молчим. Несколько месяцев и молчания хватит на годы – пауза между моим признанием и ее насмешливой фразой, насмешливостью прикрывается другое признание, пугающееся света луны, луна – это уже не безлюдье, а в такой час здесь и не бывает никого – редчайшая возможность замереть посреди осени и не пытаться разглядывать, только слушать: мелодия избегает слуха, только редкая вспышка крыльев торопящейся птицы и проплывающие совсем рядом слова.

И кто-то появляется в сумраке аллеи, не успеваешь подобрать истинного значения упавшего к твоим ногам слову, как эта кто-то уже в десяти шагах и в ее глазах грациозная решимость кошки присесть именно на твою скамейку.

Облик ее излучает тепло, ибо загадочен, как бывает неожиданно загадочна любая подробность для ребенка, погружившегося в молочный туман сказочного леса. Обличье злодея, полученное мною от (неприглашенной феи) легкомысленной (ли?) природы, мешает завязать разговор первому. Облачение ветвистых опальных оскудевших (не обнищавших) подданных осенней аллеи: шляпы, мантии, накидки, плащи, перчатки (монаршая прихоть или милость – единый цвет) брошено к нашим ногам, слух измучен, голос растворился в стремительном течении крови в жилах, взгляд устает вспоминать однажды уже виденные: крохотную шляпку с вуалью, насмешливые губы, нежный подбородок, ослепительную полоску шеи, прикрытую фиолетовыми лепестками воротника плаща.

Облако, тяжелое серое облако сводит сумрак с внезапной тьмой – я уже не слышу ее слов (но догадываюсь об их восхитительном смысле уже по легкому движению губ) и ощущаю кожей лица только недостижимость и прохладу случайного облака...

Несколько месяцев отпущено на чудеса: облик ее не отпускает меня ни на мгновение (я вижу себя замерзшим посреди осени, а в иное время – опальный слуга ее), тысячи движений и жестов, миллионы слов – и над ними внезапное божество, жившее до меня, знавшее обо мне, ждавшее осень за осенью.

В конце аллеи мы с Юлией остановились, ее лицо так близко, но сейчас луна скроется за облаком.

– Послушай... Я тебя люблю...

Облако настигает луну, шелестящая тьма прячет насмешливый шепот Юлии.

Корабль разбился о Левкадские скалы.

Не об этом ли беседовали двое, а мы увидели в невинной беседе любовную игру? Хотели увидеть...

Глоток сатириона – и веселье превратится в опасную игру слухов, случая и лукавой воли богов.

Накануне праздника я, предвкушая беседу с меценатом, достаю альбом для гостей и перечитываю древние записи. Отношение мецената к альбому было покровительственно-отеческим, он никогда не отказывал себе в удовольствии, в стороне от общей беседы, разглядывая простенький рисунок обоев, исписать страницу ровными редкими строчками, облагороженными росчерками с завитушками заглавных букв. Свет лампы, вежливо зажженной мною, мягко изливался на его огромный лоб, и робкая небожительница тайно разглядывала неподвижный профиль мецената, волнистая шевелюра и горбатый нос экс-триумфатора. Меценат не замечает взгляда робкой небожительницы и пишет для нее и для меня: «Мечта – невинный зверек с проказами и шалостями существа, только что поселившегося в мире красок, запахов и ласк; она вечно вертится под ногами (так страшно наступить на нее, осторожность представляется нам нежной любовью), забавляясь с мимолетными, постоянно исче-

зающими зверьками – грезами. Паутина, которую плетет безобидный паучок – ложь, – вот она уже забивает глотку, стягивает до онемения руки (как просто было разорвать паутину, когда ее было немного) ... Да и тот прежний невинный зверек превращается в безжалостное чудовище, а мимолетные зверьки обнаруживают неведомо откуда появившиеся щупальца; сон длится вечность, пробуждение дарит с издевательской усмешкой безнадежный хаос».

Я наклонился к Латонии и прошептал:
 в сатирион подмешан медленно умертвляющий яд,
 пройдет время, и все веселящиеся встретятся
 на пиру в Аидовом доме. Латония без труда
 улыбнулась: Интересный способ исцеленья.
 Ты помнишь, что я жена твоя? Ты позволишь
 и мне насладиться, как никому другому
 тайным свойством веселого напитка?

– Все меньше шут, все больше череп, —

змея невинная скользнула на пол и заструилась в поисках крохотной щели, скорее, пока я не сообразил, что произнес неуместную и очень точную автоэпитафию, и все обратили внимание, застывшие перекрестные взгляды (интересен ряд – аскетизм, дерево, трость, монастырь, молитва, пергамент, маска, ветви, ограда плюс несколько возможных...),

– Выпьем за реминисценции – (муж Анны, внезапный спаситель, я захожусь в кашле под звон сдвигаемых бокалов, но все милостивейшая раздражена и лелеет угольки в углах глаз, угольки вспыхнут настоящим и безжалостным пламенем позже (все меньше шут... – это он о чем?), как радостно и легко скрываться под сенью бессвязной застольной беседы...

– Этот психиатр всех считал сумасшедшими, многим он сам казался сумасшедшим или самоуверенным шарлатаном... только Н.Н. видела в нем душу ясную и прохладную, ей нравилось, как он вздрагивает и опускает руки, когда она целует его...

– Эта женщина свела его с ума...

– Она предпочитала поздний эллинизм...

– Что вы, она отравилась...

– Это называется эмпатия... понимаете, я так близко ее знала, что чувствовала каждое движение ее души и сочувствовала. Если у нее болела голова, мне передавалось, мы мучились одновременно...

Юлия наблюдает за мной и совершенно не слышит Анны, Анна разглагольствует и для нее, свояченица прячет едкую усмешку, и вот вступает муж Анны, взбодренный всеобщим вниманием:

– Сескуликсес (*Sesculixes*), скажем так – Полтора Улисса, умножение ироническое, ибо не дает целого числа, цельной природы. Поясню, преувеличение собственных возможностей есть одна из самых трагических лихорадок личности, лихорадка превращается в манию, и созвучие некоей личности истоптанным путям давно ушедших воспринимается – как несомненное свидетельство тождественности величин или даже их равенства. Древние шутили точно и жестоко...

И откуда-то издалека тонкий капризный голос старого знакомого, вьющийся около обманчиво спокойствия всеми-

лостивейшей, тонкий капризный голос:

– Истерическим росчерком голые скользкие ветки перекрыли дорогу и ветхую плесень небес. Не кончается влага в чернильнице, и у беседки в опустевшем саду под кустами скрывается бес.

Бокалы плывут над столом.

– Выпьем за поэзию и за предмет поэзии – женщину! – Не предмет, дорогой, а источник! – Пьем за источник... – И за жажду! – Совершенно бессмысленный тост, а впрочем, как угодно...

Лица гостей удлинняются, переливаются, искажаясь во взметнувшихся бокалах, собираются в трепещущий горячий шар над столом, шар взрывается, осколки разлетаются с хрустальным звоном, дыхание мое останавливается, но я сразу же прихожу в себя от вспыхнувшего в моих глазах лица Юлии. Я прослушал, я не понимаю происходящего, все-милостивейшая держит мою руку и не пускает.

– Пусть она уходит, ей просто стало дурно...

Я что-то произнес? Свояченица, почти касаясь моего уха губами, шепчет: – «Не делай глупостей, дай ей уйти...»

Отчего так мрачен, словно Сатурн,
где шутки легкокрылые твои,
шелестевшие в рощах Эрота? —
заговорили обступившие меня Арей,
Лициний, Альбий, Септимий, Помпей.
Чашу Цекуба я отстранил:
Жажду иного напитка. —
Рассмеялись друзья. О каком напитке
веду я речь? Стали предлагать название
напитку: Податливость Лаиды,
Неутолимость Октавии, Нежность Левкатиды,
Невинность Люцины, Стыдливость Лесбии,
Неукротимость Латонии.

Неужели, я обречена все замечать, даже если какой-то высшей силой установлена идиллия, я не пропускаю ни единого лишнего значения, собираю терпеливо, лепесток к лепестку, а ночью, надышавшись дурмана составленного букета, задыхаюсь, меня душит ясность, я вижу все и предвижу, но не вмешиваюсь, потому что невозможно самой придумать себе светлую роль, на светлых одеждах окажутся серые пятна неведомых мне помыслов, и тогда не убежать, не скрыться — участвовать до конца и может, будет суждено подать милой

сестре моей сладкую отраву всезнания и всевидения?

Они сознаются друг другу только в несущественном и лгут, весело притворяясь детьми, влюбленными в шалости. И я люблю ее, прощая знакомое мне, и я могу любить его за то, что незнакомо мне, но понятно... Я могу жить рядом с ними и благословлять сегодняшний покой, но завтра уже наступило, и не один его взгляд, влюбленный и древний, на испугавшуюся этого взгляда Юлию был причиной мучительного скандала тем далеким майским вечером...

Она так боится умереть, чтобы эти же люди обсуждали трагедию и сочувствовали мужу и мне. У бедной моей сестренки совсем нет сил бояться забвения. Ей мало даже моей любви, а я не смогу жить после нее, не переживу и одной ночи.

Какая нелепость эти люди, приходившие постоянно в гости, и они виноваты в случившемся, и даже признающийся во всем автопортрет с перевязанным ухом и больным взглядом, к чему теперь терзать себя и окружающих, его тоже забудут.

Только несколько месяцев прошло, а моя болезнь вернулась, я не могу прожить и дня без горькой усмешки, не могу самый обыденный разговор не увенчать сарказмом. Я моложе сестры, но стану старше, если не соберусь вовремя...

Как-то весной мы прогуливались с сестрой в парке и почти не разговаривали, только улыбались. И какой-то незнакомец, подойдя к нам, отчетливо произнес: «Улыбайтесь,

всему свое время», – и ушел, не дожидаясь нашего движения. Я хотела его окликнуть, но сестра коснулась меня рукой и сказала:

– Где-то я видела этого человека, видела зимой...

И никакие мои уверения в случайности и бессмысленности происшедшего не смогли ее убедить, оттолкнуть от закатной грусти.

Вчера я отпустила Несмышлениша на все четыре стороны, он не хотел верить и даже плакал, доказывая, что никто меня не полюбит так, как он, я была непреклонна, я снова увидела все его грядущие неловкие поцелуи и капризное самодовольство мужающего самца, забывающего о поэзии и о звездах в теплом жилище обязательности необязательного.

Вечером того же дня я встретила невдалеке от театра мужа сестры, но он меня не узнал и прошел мимо. На его лице блуждала улыбка, улыбка незнания.

Ты узнал свое мучение, миг узнавания позади,
теперь с каждой затрепетавшей ветвью,
погасшей звездой, вздохом неутолимой нежности,
стоном бессильного отчаяния – прошлое будет
приобретать иные черты; горький живописец
Время движет его рукой неукротимость звезд.

Никто из гостей не владел искусством незаметного исчезновения, никто, кроме мецената, обладавшего к тому же редчайшим даром уместного появления. В тот далекий майский вечер Юлия заходила к нему напоследок, никто ее больше не видел. И меценат появился вовремя и разогнал оставшихся гостей, а потом долго беседовал с моей свояченицей в саду, пока я помогал притихшей всемилоостивейшей разобраться с грязной посудой. Ближе к полуночи мы с меценатом устроились в беседке выпить кофе, и посреди охватившего весь мир покоя он обрушил на меня громы и молнии (меценат щедро одаривал симпатичных ему людей неисчислимым золотом тяжелых упреков, но их тяжесть и блеск радовали глаз и возвышали владельца).

– Ты захотел стать маленьким человеком и иметь все при-
сущее ему добро: семейный уют, возвращения в дом и бес-
смертие в немногочисленном потомстве... Захотел, потому

что беглое наблюдение и опыт тысяч и тысяч скитальцев говорят тебе: это нравственно, а значит более достойно существования, чем беспокойная скользкая тропинка к неведомой вершине.

Неловким движением руки меценат перевернул мою чашку, но не повысил голоса.

– Ты, оставленный в удел демону путешествия, притворился домоседом, сочиняющим от избытка времени и недостатка воображения сентиментальные сказки. Что же, ты наказан некоей высшей волей, не обозначившей себя четкой границей нравственного. И если в начале пути ты имел за плечами только тяжесть сомнения, то сегодня тебя гнетет и тяжесть раскаяния, – тяжесть несравненно мучительнее, ибо сомнения существуют и до опыта.

Он не давал мне опомниться и собрать осколки, золото звенело вперемежку с медью.

– Беден художник, порвавший с мальчишеством ради старческой идеи болезни и страданий – как способа очищения от случайного в этом мире. Мальчишество и есть возвышенная болезнь гениев, угнетаемых вторичностью! Так вот – маленький человек мальчишествоует в компании необязательных гостей, он лоялен к любому своему будущему, потому что оно нравственно и тождественно его прошлому; сам мыслительный процесс он рассматривает как придаток кухонного механизма, обеспечивающего его пищей и теплом. И если он слышит о существовании идеи, аскетичной

по духу, начинается бунт, антипатия, раздражение; маленький человек не может сдерживать импульса протеста и обращается к продолжению рода и обеспечению пищи и теплом потомства.

– Да, да, – сказал я, – суховато сказано, простите, но я пропустил значительную часть... Вы говорите, что у мстящей мне высшей силы нет границ нравственного и не нравственного, но разве высшая сила не подразумевает и высшей нравственности, не нуждающейся в границах, а если высшая нравственность безгранична, а мщение неизбежно, то не меньше ли гнева падет именно на маленького человека с ограниченной областью его несовершенного будущего?

– Неточность, – морщится меценат, – не высшая сила (я не мистик), а высшая воля... Ну а ежели вы произнесли: высшая нравственность, – то вам обеспечено вечное мщение, как бы вы не рядились в серые одежды и не сочиняли гимнов домашнему очагу. Вы меня не проведете... Вам нужно поскорее умереть.

Септимий, Септимий, что случилось с нами?
Отчего так невеселы наши шутки, о чем шепчут
друг другу наши девы, какие перекрестки
сулит нам Тривия? Я ли несчастлив, Септимий?
Так ли давно ты, отставив чашу, упивался моими
созвучиями? Где они? Куда забрели проклятые,
кто радуется им? Почему так нерадостно мне
от чужого веселья?

Последние лучи, мутные пятна рассеянного света на бледных стенах, когда-то я загадывал вспомнить о чем-то, помнить и столько времени отступаюсь; вернейший способ — медленно пройти по аллее парка, свернуть в боковую аллею и увидеть, услышать. Но я не тронусь с места, мальчишка угомонился и спит, но может внезапно заплакать, разглядев во сне то, что я не могу или страшусь увидеть; я не пошевелюсь, и тайна останется тайной. На бледной стене замерли лучи, хотя уже ночь. По письменному столу снуют ящерицы, однохвостые и двуххвостые, но я не успеваю подумать, нет и речи, чтобы поймать даже одну.

Дыхание моей всемилостивейшей и всевидящей госпожи ровно и неслышно, июньская листва дышит учащенной. Я то и дело поворачиваюсь в кресле и смотрю на спящую, губы ее

слегка шевелятся, словно не решаются произнести жалобу, лицо озарено светом покоя. Теплая волна сметает мое легкое движение навстречу внезапному свету, я застываю, едва приподнявшись из кресла.

В соседней комнате тихо, а я уже высоко, над домом, над листвой, стремлюсь в серебристые дали, где пиры попеременно с чумой, где рождаются лучи, где лучи начинают свой недолговечный путь, я совсем близко от воспоминания: двое на аллее парка, и я все ближе к ним, я различаю старого знакомого и ее, произносящую: «Мне трудно представить его на самом деле одиноким». И старый знакомый (в обветшалом пальто, в старомодной изломанной шляпе, с белым взглядом и слипшимся пепельным ртом) с ужасом смотрит на нее, произносящую: «Меня не будет, и никто не увидит моего лица, плывущего навстречу последним лучам, я исчезну. И те, кого я любила, – милые рассеянные лучи вечной влюбленности, уйдут».

Мрак прячет их фигуры, угрожающий шелест листвы – голоса...

В соседней комнате плачет ребенок, я поднимаюсь и делаю шаг, только шаг, потому что чувствую спиной жалобу спящей, жалобный тихий плач во сне и слова, торопливые и безнадежные: «Нет... нет... пожалуйста, не уходи от меня».

Я оборачиваюсь и со страхом вижу лицо спящей, не оза-

ренное светом, а сокрытое тенью, тенью угрюмого предчувствия. – «Я погибла», – вдруг произносит она спокойно.

Смеются друзья: разве печалются боги?
Какой же милости ждешь от них?
Кутаешься в темный плащ ночных ямбов,
а в груди Латонии шевелится маленький
отчаянный зверек ревности. Сколько грозных
тяжелых волн слов обрушила она этим утром
беспричинно на удивленную Лаиду!
Они не могут и прожить друг без друга, как
добавления и комментарии к многозначному
рассуждению. Я не мог без них. Смеются друзья:
не окажись на берегу моря между волной и
острыми утесами, Септимий, Септимий...

– Это по-рыцарски, – рассмеялся актер, подходя к окошку
с дымящейся чашкой кофе в руках.

– Поверишь ли, я люблю в нем его детскую уверенность –
что бы ни случилось, все обратимо, всегда можно получить
от родителей прощение за разбитую банку варенья. И я со-
всем не преувеличиваю: непрерывными страданиями он вос-
питал в себе обаятельное чудовище, кажущее свой лик раз
в сто лет.

Зимним вечером в простуженной квартирке актера мы пе-
чалились о старом знакомом, состоянием дел которого были

обеспокоены всерьез.

– Я знаю его меньше, – говорил я, – и не понимаю, как может существовать вокруг него неприязнь, ненависть?

– Да будь он и впрямь ангел, – перебивает актер, – его ненавидели бы все. Однако, он не ангел, холст терпит все его автопортреты, апологии демоничности. Я его друг, но я не ребенок, чтобы верить в его страдания. История, легенды не живут среди нас, а только позади, далеко позади...

– Ему не везет с женщинами, – говорю я задумчиво, – они оплетают его упругой сетью обязательств, упреков, недомолвок... А он... он больше смотрит в небо, небеса благосклонны к нему, земное – враждебно.

Почему-то эти слова развлекают актера, он вскакивает и начинает бегать по комнате, давиться неестественным смехом.

– Женщины! О-о... как ты, не думая, попал в самую точку?! Ему не везет с женщинами! Но ему повезло с женщиной, понимаешь? Одной женщиной. Ее не так трудно найти, как считает всякий и каждый. Нужно самому быть таким единственным, которому нужна только одна. Даже не моногамия, никакой физиологии. Пусть бы переводил холст на сотни портретов одной женщины – единой! Вот ему лекарство, а он мучается над автопортретами потенциального самоубийцы. Несостоявшийся самоубийца любит себя больше, чем жизнерадостный балбес. Каюсь, я много раз провоцировал его на действия после слов и знал, что это безопасно, ибо то-

гда-то он и спохватывался и с тоской думал о красках, о холсте, о пыльном семейном зеркале.

– Я ничего этого не видел и не могу рассуждать, – произношу я примирительно. – Он интересен мне своей жаждой вселенской гармонии, своими молитвами перед многоликим хаосом. К тому же, обнаруживая его слабости, я предупреждаю их проявление в себе.

– Не обольщайся, – внезапно кричит актер, – ты заразишься его верой! Это очень хитрая вера: в хаосе-де нет окончательных законов, посему легко отыскать лазейку. Глядишь – и ты уже веруешь в безверие; а как же иначе в хаосе? В хаосе можно даже предавать во имя любви: изначально мы же все любим и вся, пока не потянут сети, пока не затянется петля...

– Да, да, – говорю я рассеянно, – ты его знаешь давно и можешь так говорить. Однако я всерьез побаиваюсь его мыслей о самоубийстве... Самоубийце не удастся совершить задуманное, если рядом есть человек, который верит в серьезность его намерений... Мне как-то нехорошо становится... Я видел его на днях, у меня дурацкие предчувствия... Я пойду, только сделай мне еще кофе.

Актер приносит мне кофе и со странной серьезностью (будто не было с его стороны явных насмешек, иронии и язвительности) советует навестить старого знакомого, не откладывая на завтра.

– Это по-рыцарски, – говорит он мне в дверях, – это по-

рыцарски, но умоляю – не обольщайся...

Поздним вечером мы курим со старым знакомым у нового автопортрета, он объясняет мне подробности истории создания: смертная тоска и детское удивление перед жестокостью той, которую он действительно любил... Слушая его, я случайно перевожу взгляд к застывшему окну и вижу мерцание белых глаз за стеклом, в глубине их льдинки жалости и безумного торжества.

Есть много приворотных средств, их можно всюду отыскать: сучочки, ногти, антипат, пилюльки, травы, корешки, двухвостых ящериц соблазн и лошадей любовный пыл... Это прислал мне насмешник Помпей, – говорит Лаида. – А сочинял вместе с Септимием, – недоверчиво вздыхает Октавия. – Мне известно самое сильное приворотное средство, – мечтательно шепчет Латония...

Безо всякой цели слоняясь по городу дождливой осенью, я забрел к меценату и отвлек его от работы. В сердцах перемешав листы черновика, накрыв их энциклопедическим томом, он повернул кресло к дивану, на котором я на правах юного, подающего надежды собеседника, устроился с ногами. Мои прекраснодушные излияния неожиданно взбесили его, и он без лишних предисловий, «*in medias res*» выложил передо мной стопку измятых и разглаженных листков. Это были письма моей свояченицы. Я прочел их с опаской (редко удается безнаказанно читать чужие письма) и поразился противоестественной мудрости ее, знавшей и видевшей больше меня, но странно догадавшейся делиться накопленным с посторонним человеком, уже прожившим жизнь.

Но я не успел вымолвить и слова, потому что пришла роб-

кая небожительница, а меценат встретил ее с преувеличенной вежливостью и радушием, чему она успела наивно удивиться, а затем также наивно обрадоваться.

Я распрощался и решил перехватить актера, репетировавшего любимую роль, но репетицию отменили, пришлось продолжить бесцельные блуждания, что само по себе не страшило меня... И тут я увидел свояченицу, медленно бредущую под дождем навстречу мне. Злость и сожаление пронзили меня, и я прошел, не поворачивая головы, не замедляя шага, хотя знал, она видит меня и даже готовит первую фразу, которая превратит меня мгновенно в прежнего мальчишку.

Я шел все быстрее, меня обступали возлюбленные тени, сигналили автомобили на перекрестках, я боялся собственной мысли, легкого порыва вернуться, догнать ее, спросить, потребовать не утешения, а горького знания на много лет вперед: почему умирают все? Кто виной всему? Куда исчезла ее сестра? Почему старый знакомый, страдая сам, принес страдания другим?.. Я шел все быстрее, стараясь уйти как можно дальше от далекого майского вечера, так и не разрешившегося дождем.

12

Легкокрылое мгновение превращается в
расплавленную каплю воска и, упав на тетрадку,
застывает неумолимым торжеством Латонии,
являющей застывшим жестом божественную
сладость предчувствия; как близко ее тело,
поддерживаемое томностью полуденного ветра.
Что будет, боги,
расскажи вы о полуденной Латонии Госпоже?

Причуды третьего лица – высокопарного двойника, признающего только темные тона, медлительность и меланхолическую неизбежность – заставляют даже светлым майским днем опускать шторы и напрягать зрение, разглядывая на чистом листе неверные блики настоящего: свет, вспыхивающий в глубине черепа, пугает последнего странника на краю ночи; свет, подобный мелькнувшей птице, не несущих никаких поводов к страху, кроме небесных. Угрюмость он давно числит безотраднейшим великолепием – сродни великолепию темных временем фасадов бесконечных зданий, в залах которых иногда пирует и рядится в дурацкие одежды веселый ум; верные и неверные маски не отпускают его, шепчут, жалуются, лукавят, плачут, растворяются в первых попавшихся сумерках его души, бесприютной и бессонной...

Удивительная черепашья мысль все бредет и бредет, а я откладываю перо: завтра праздник и придут гости. Актер будет развлекать женщин, и ставить всех в неприятное положение чертовской своей пронизательностью. Меценат, отпустив порцию комплиментов хозяйке, займется альбомом. Моя всевидящая уличит меня в очередной раз во внимании к изящным ножкам Анны и безразличии к невероятному уму ее мужа.

А Юлия вряд ли появится, последнее ее письмо – чудесное созвучие души и плоти, божественная, единственный раз в жизни вспыхивающая откровенность, откровение, навороженная звезда, бессмертная и совсем близкая. И я перечитываю в который раз письмо и удивляюсь ее любви, как удивляется она своей любви, посетившей ее после стольких лет ожидания.

Однажды свояченица застает меня за чтением этого письма (я замечаю ее слишком поздно, а она с интересом и волнением смотрит на мое лицо), счастливой смертной силой наполнившего все мое существо.

– Что с тобой? – говорит свояченица, – что ты читаешь?

Я молча ухожу в сад, а вернувшись через время, с сумасшедшей тщательностью прячу письмо.

Перо снова в моих руках, завтра праздник, а я давно пообещал меценату некое невинное античное подношение, старую историю о страдании и мести.

Дерзкий острый луч пробивается сквозь шторы и застывает на кончике влажного пера, чернила высыхают. Невесть откуда взявшаяся ящерица бесстрастно наблюдает за перемещениями пера от чернильницы к листу наперегонки с беспечным лучом, едва касающихся бегущих строчек:

Забвение стерло их голоса, чудесные профили, – говорил Септимий, – эти двое – не более чем отзвук, блуждающий в наших душах, отзвук не двадцатиструнной лиры, а юного года, плывущего счастливой мелодией над печальными ночными дорогами; эти двое знакомы мне, теперь они оба в Аиде, тени без лика, в толпе иных скорбных теней.

– Постой, Септимий, – заговорила Лаида, – эти двое жили давно, как могли мы разглядеть? Не боги ли вернули их, чтобы напомнить нам о чем-то?

– Постой, Септимий, – улыбнулась Октавия, – не лишние ли глотки сатириона были тому виной? Да и кто первым увидел этих двоих, явно затеявших представление в парке?

– Сатирион? – задумался Септимий.

Прносятся годы не только от нас. Дело не в сатирионе, а в том, что внезапно пронзает нас – и забвение бессильно, пусть даже его нашлют беспечальные боги.

Ноябрь 1985 г., сентябрь, октябрь 1987 г.

«Сатура» – сокр. вариант (прим. ред.).

Старая пьеса

Madame, знаете вы эту старую пьесу? Это совершенно необыкновенная пьеса, только чуть-чуть уж слишком меланхолическая. Когда-то я играл в ней главную роль, и все дамы плакали, лишь одна, единственная, не плакала, ни единой слезы не пролила она, и в этом и заключалась соль пьесы, настоящая катастрофа...

Г.Г.

Вот губы, которые верили в неизбежность поцелуя, —

и: милостивый дар вечной улыбки холодеющим губам завтрашной зимы. Несколько сотен лет никто из завсегдатаев портрета и не подозревает о чудовищной подоплеке. Как было сказано ранее: она была мила, и он любил ее, но он не был мил, и она не любила его.

Два года я сочинял трактат в старинной манере: Признаки, Поступь, Речи и метаморфозы человекоангелов. Работа поднимала мой дух, с высот я равнодушно взирал на смену времен года. Порой мне не хватало злости, и я одалживал у окружающих, не забывая возвращать в срок, изредка воспитывая у кредиторов тщеславие ростовщиков. Меня уже всю звали вымышленным именем. Мне каялись в совершившихся злодействах, явно претендуя на отдельную главу в Трактате. Я сопротивлялся, оставляя место только умею-

щим петь.

Демон путешествия получил меня в удел на весь век. Обязательность необязательного, расправив крылья, несла меня над ледяными пустынями к веселому горящему угловому окну. Он рассказывал ей о том, как она мила, она любила слушать, но не любила его.

Фиолетовые чернила не кончались, Трактат обживали многочисленные семейства примеров, доказательство угрюмо бродило по бесчисленным коридорам дома, прислушиваясь к повисшему в воздухе шепоту:

*– Вера – плод не разума, но состояния души,
а оно так изменчиво.*

– Ненависть ко лжи ведет к жестокости...

– Ненависть к жестокости ведет к сомнению...

– Ненависть к сомнению ведет ко лжи...

В этой старой пьесе герои тщательно подбирают слова и долго обдумывают последствия. Красота их ущербна, цель уродлива, жертвы глупы, безоговорочно прекрасна только музыка их снов, но между грезами стены и запертые двери. Фауна комедии однородна: от благородных свирепых тигров июньского полдня до бархатных нежных и вероломных...

Она слегка пьяна и посему вольна: отточенное до опасной остроты кокетство – госпожа-абрис, госпожа-бедро, госпожа-талия (скользящий алый шелк, обладающий в упоении каждым ее изгибом), – всё отмечается в ее лукавом взгляде:

я внимательна к вашему вниманию.

Попробуйте говорить серьезно и – полная отставка! Несерьезность, еще раз несерьезность: она слегка пьяна, и в зеркале строгая надменная женщина, госпожа, едва заметным подъятием бровей указывающая на высокие тяжелые двери, украшенные барельефом «Изгнание из рая».

Madame,

помните эту старинную пьесу: он мил, она мила, они любят, они отравлены любовью и обречены на медленную смерть в мучениях, они верят в призраков, но призраки не видят их слез; они мучают друг друга, пока неведомый Автор не разлучает их в шутку, и они сами становятся призраками...

Безумный под пыткой! – вот, что значит несчастный, бьющийся над безнадежным трактатом о признаках, поступи, речах и метаморфозах человекоангелов. Ибо тщась доказать существование человекоангелов, сочинитель издевается над своим прошлым, находя в нем невозможность и невозможность!

Ее смех даже не оскорбителен, она верит в мои бесчисленные (вечные) исчезновения-появления. Увы, ревность чужда человекоангелам, их не интересуется ваш взгляд, обзирающий партер и ложи, ибо воинственен и нежен их благодарный слух: волшебная музыка предчувствия и воспоминания принадлежит человекоангелам вместе с вами, с вашим

неуверенным строем насмешливых равнодушных растерянных взглядов, слов, жестов.

Демон путешествия потешался надо мной с безжалостностью и остроумием закадычного друга. В конце каждого путешествия меня не ждал никто, мне не бывали рады даже те, кому бывал рад я. Моя природная мрачность перестала озираться в поисках подходящего оправдания собственной природы.

Со сцены звучала знакомая мне музыка, я различал слова, реплики персонажей: он любит ее, она любит его, они премило идут рядом, переговариваясь о незначительном и думая об ином. Горчайшее злорадство ничто в сравнении с покойным сумраком безнадежно бездыханной комнаты.

Благодарение Сочинителю отчаянно веселой повести о путешественнике в серебристые дали, где пиры попеременно с чумой, где ангелы мимолетны (и смертны), где единственное письмо всесильней кубка с ядом, где единственный свет пробивает сумрак твой слишком поздно, где время шутит, и ты смеешься, забывая, и ты смеешься против желания, и губы холодеют...

Помните эту старинную повесть? Я вижу в ваших руках эту повесть, но вы не ждали меня так скоро, вы испуганы или подчиняетесь вескому женскому правилу изображать испуг (из кокетства), выигрывая мгновения, мгновения, сводя на нет случайную непосредственность (естественность).

Страницы моего Трактата разлетаются: виной тому легкое движение вашей руки, колебание воздуха. Меня смешит собственный порыв броситься подобрать неверные листы. Так стоять немислимо. Немислимо долго. Перед улыбкой из сумрака портрета. Молчание-битва. Сделайте что-нибудь, чтобы я вас ненавишел; не ненавистью оскорбленной гордости, более всего уместно обыкновенное предательство.

Я только почувствую, что вы это не вы, и буду избегать оболочки. Вашей оболочки. Я вернусь в свой век. И вечерами буду ходить на представление одной и той же старинной пьесы с гулким далеким колоколом в начале и в конце действия. И такие знакомые актеры будут разыгрывать нехитрую историю о непролитой слезе; и меня будет душить смех, и я буду шептать счастливо:

*она не плакала, но она была мила,
она была мила, но она не любила его.*

Старая пьеса 2

О, эта единственная слеза! до сих пор мучит она меня в моих воспоминаниях; сатана, когда желает погубить мою душу, нашептывает мне в ухо песню об этой непролитой слезе, роковую песню с еще более роковой мелодией, – ах, только в аду можно слышать эту мелодию!

Г.Г.

Я удивляюсь собственному спокойствию. Теперь, по истечении срока давности, срока близости, по прошествии лет радуюсь незлобивости, даже собственная глупость вызывает у меня восхищение. Итак, я зритель, недалекий и праздный. По прошествии лет. Окружающие всё понимают и находят в моих замечаниях невпапад поэзию случайного. Актеры не слышат меня, да и какое дело им до меня, спокойного внимательного зрителя, прислушивающегося более к посторонним мелодиям: шороху пламени свечи, покорному скрипу паркета, вашему близкому дыханию, *Madame*, а вовсе не к печальной песенке героини, отравленной сладким вином с губ светлого героя, который лгал, даже пытаюсь говорить правду; он свято верил, что ему верят, и его подозревали в глупости.

Печальная песенка героини полна слез – и слева, и спра-

ва моря, реки молитв, речений, слез. Как ждут окружающие полнейшей ясности с последним словом, репликой героини, героя, шута, когда последняя полнейшая ясность – бледный удел людей ограниченных, лишенных сострадания и воображения: она была мила, но он не любил ее, он полюбил ее, и свет померк в ее глазах, и свет стал ей не мил, но она полюбила его.

Я удивляюсь вашему пристальному вниманию к старой пьесе, *Madame*, и отвлекаюсь, простите: радость сидящей неподалеку зрительницы подобна моей угрюмости, румянец предчувствия (ибо предчувствия во всем) развлекает меня; правая щека ее окутана необъяснимым, но до рассветной свежести юности уместным снежно-розоватым туманом (вот счастливое своеволие неведомой кисти), она наблюдает за пьесой, я наблюдаю за ней: вот улыбка... полуулыбка... никакой выгоды или корысти: только легкий поворот в мою сторону и туман поглощается тенью, а я спасаюсь, переводя взгляд на ее ушко, наполовину прикрытое прядью волос (невдалеке от него родинка – её-то я и искал); её глаза оживают (пугающая белизна подергивается тем же детским туманом любопытства беспечности, озорства, кокетства), мгновенного восхищенного замешательства (упоения?) хватает, чтобы она окончательно перенесла своё невинное внимание на кого-то очень знакомого – в глубине сцены, появившегося вместе с боем часов; или я позабыл старую пьесу, и зрительница увлечена ярким костюмом раскаявшегося злодея?

Или в старой пьесе изменили финал и перед сентиментальной публикой кривляется угрюмый шут, кривляется наперегонки со своей тощей обезьянкой в розово-снежном дурацком платье?

Вы сердитесь, *Madame*, и ваш легкий гнев наполняет моё существо благодарными слезами восхищения, но внешне я спокоен и удивляюсь собственному спокойствию. Публика расходится, оживленно обмениваясь впечатлениями:

она была мила... он был мил...

О чем еще споют холодные губы неверной зимы? Представление закончилось? Так быстро? и свечи догорели? Следует быть внимательнее на представлениях старой пьесы и поменьше корпеть над Трактатами о человекоангелах! – Это не ваш шепот. Он разгорается от обыкновенной свечи, и вот уже верное пламя пожирает чернильные листы, касается моих рук, достигает моей души:

вот прекрасный повод – что-то сторает во мне, никому никогда не узнать того, что пело вначале, кто-то молча переворачивает страницу, кто-то смеется, неведомое мне ныне пламя касается твоего тела... даже воображаемые слезы высохли бы, пусть крохотно пламя свечи и невообразимо далеко, пусть мы вернулись с представления слишком поздно и – в разные главы одной повести, заканчивающейся вселенской метелью, догорающей свечкой, смехом и переплетающимися дыханиями горячего шепота:

она была мила, и он любил её,
но он не был мил, но она не плакала...

сентябрь, октябрь 1987, ноябрь 1985

Deja vu

Новелла

Листая «Новейший снотолкователь» Мюрэ, я натолкнулся на любопытную главу, посвященную снам случайным и мимолетным, в которой с изумлением прочел описание сна, виденного мною восемь лет назад в уютном кресле зала ожидания на вокзале некоего крупного города, возможно столичного. С нетерпением добравшись до конца (совпадали все важные подробности), я усмехнулся своей доверчивости: толкование не было туманным, как я ждал, более того, оно не было похоже на толкование, к которым мы привыкли.

Неведомый мне Мюрэ явно грешил сочинительством и не жалел бумаги и чернил, когда можно было обойтись (традиционно!) двумя-тремя нераспространенными предложениями, в коих посулить проснувшемуся тайные желания, неиссякаемые источники иллюзий, тоску по не свершившемуся и т. д. Или – несколько подробнее – намекнуть на неустойчивость психики, тайное благородство поступков, гибельную теплую бездну помыслов, – *ad libitum* составителя.

Переписывая главу Мюрэ, я несколько изменил порядок

построения эпизодов, убрал совершенно характерные фразы и словечки, выдающие с головой несколько лиц, мне знакомых, и избавился от многочисленных нелепых междометий, разбросанных там и сям старательным Мюрэ и свидетельствующих о его недостатке вкуса, и – слегка – оправдывающих столь распространенный в наше время грех – сентиментальности.

* * *

Не следует упоминать о любви, вечер сам по себе прекрасен как затянувшаяся шутка, увы, мне не до шуток, потому что она сейчас дочитает страницу, поднимет голову и скажет намеренно охлажденным и таким знакомым голосом: *уходи*. И мне не останется ни единого слова... Поэтому не спешите.

Наступят времена, когда я с усмешкой поведаю нетерпеливому слушателю: все кончилось просто – просто донельзя просто. Вполне достижимая линия горизонта соперничает о таким близким горизонтальным профилем лживой флорентийки; образумьтесь, и вы с горечью осознаете муравьиную цепкость и черепашую терпеливость.

Она дочитала страницу и таким знакомым голосом (уверенным резцом) произнесла давно охлаждаемое *у х о д и*.

Святые грешники! Том захлопнут, «иллюстрированная

исторія нравовъ» Э. Фукса распадается на три части.

Первый томъ: Эпоха возрожденія (Ренессансъ).

Второй томъ: Вѣкъ галантности.

Третий томъ: Эпоха буржуазіи.

Въ каждомъ томѣ имеются около 400 иллюстрацій и отдѣльных таблицъ, состоящихъ изъ рѣдкихъ документовъ по исторіи нравовъ и искусства. Роскошное изданіе большого формата...

Несколько мгновений на размышления, выдаваемые за внезапное восхищенное онемение. И теперь, если она скажет еще одно слово, торопливо и оскорбительно спокойно, мысленно удаляясь в иные владения, где она принадлежит угрюмой черной мысли, я протяну руки, и нежное кольцо пальцев на ее шее отправит усталую мучительницу в город с теплыми сумерками и узкими безлюдными улицами без часов; несколько минут прогулки обратится в долгое воспоминание, когда сон прекратится, но сна не было, мы уходим вместе, забыв на столе распахнутый том «Исторіи нравовъ»: *La grande Cocotte* Ренессанса...

Безжалостные лучники не дают мне уснуть на исходе зимы междуусобий, но теплые ветра только добавляют силы плутающим стрелам, во сне я могу наблюдать и чувствовать, а не участвовать и чувствовать; поступок, действие равны себе в пространстве сна, ничто не может быть переоценено,

перевоспоминание исключается.

На несколько минут она задерживается у зеркала в прихожей (не включая свет), я подхожу и слышу ее раздраженное: нет, сейчас у меня не такое лицо... Интересно, куда подевалось ее родимое пятно у левого виска?

– Послушай, – оборачивается она, пугая и не замечая смысла своего движения, – я жутко хочу спать, как ты думаешь, во сне будет холодно?

Мы спускаемся по тяжелой спиральной лестнице (рафинированность и сентиментализм), я почти уверен, что внизу она испугается первого же порыва ветра, который скользнет по нашим горячим лицам – к незапертой двери, далее – к всполошившимся страницам толстого тома: мелькание – «Идеаль красоты эпохи абсолютизма».

– «Шлейфъ, фонтанжъ, парикъ.

– Роль каблука.

– Декольтэ.

– Кренолинъ».

Мы почти бежим, на перекрестке она останавливает меня, то ли перевести дух, то ли произнести мечтательно и угрюмо: как я тебя ненавижу... Путь не столь долгий – к ночному причалу, но сумерки подступают осторожно, прислушиваясь к нашей беседе не размыкаемых губ:

- Боже, как я тебя ненавижу!
- Неоправдавшиеся надежды...
- Когда же ты исчезнешь совсем?
- ... до конца не уверишься...
- Что-то поднимается со дна.
- Доисторическое неизученное чудовище.
- ...и, торжествуя, остаешься на этом свете.
- ...разглядываешь необыкновенные плавники...

Для каждого становится богом непреодолимое желание. Незримый бог мой – ее родимое пятно у левого виска, бог, скрытый темным локоном и сумерками, растворившими в серо-зеленом расплыве здания, прохожих, небеса.

Оказывается, мы пересекли перекресток и идем рядом с длинным зданием, некоторые окна здания освещены неверным розовым светом. Я иду, как полагается, слева, она временами отнимает руку, но меня занимает не рука: с полубезумной пристальностью я не свожу взгляда с пряди волос у ее левого виска, скрывающей...

Мучительнее всего знать, что голос ангела с теневой стороны проспекта отвлечет меня ровно на столько, сколько потребуется ей для внезапного исчезновения в самом начале пленительной мрачной прогулки, и я, еще вслушиваясь в умолкающий напев, побегу вдоль длинного здания, ве-

дя счет темным окнам и сумасшедшим догадкам. Добежав до угла здания, я сворачиваю в темную арку и, разглядев свет из приоткрытой двери, с решимостью бросаюсь в прихожую, тут же наталкиваясь на незнакомца средних лет в безукоризненном черном костюме с покойным взглядом и вторым томом «Исторіи нравовъ. Векъ галантности» – в руках...

– Êtes – vous fous? – произносит он раздраженно. – Она вернулась только за перчатками.

Уморительнее всего рассуждать так: мы шли по солнечной стороне проспекта. Крылья сумерек деспотически распростерлись над неловкой фразой, но мы не замедлили шага. Сослагательные превратности только укрепляют дух и готовят почву для снисходительной усмешки перед зеркалом неожиданного триумфа.

Итак, я чувствовал, как холодна ее рука под перчаткой... Мы едва не опоздали на поезд, едва не свернули к ночному причалу, но ветер утих, только многочисленные прохожие натыкались на нас на каждом шагу, успевая, впрочем, принести извинения, исполненные робости, угрюмости и откровенного, но не оскорбительного лукавства. Только оказавшись в вагоне, она понимает косноязычие спутника и совершает отчаянную попытку разорвать оковы сна невинной шуткой о путешествии в Италию*.

Сосед по купе, сверкнув обритым черепом, молниеносно извлекает из саквояжа том «Исторіи нравовъ отъ среднихъ вѣковъ до настоящаго времени», и вагон, дрогнув, плавно отправляется в путь. Так как после своевременной выходки сосед не представился, я совершенно бесцеремонно стал изучать его внешность, более всего – лицо, такое же бритое, как и череп: на нем не было слишком замечательных черт, но в первую очередь угнетали глаза, бутылочного цвета, тогда как пепельный от выбритой седой щетины подбородок возвращал душевное равновесие и позволял вдоволь пофантазировать по поводу совершенно необязательного носа, словно раздумывающего, к правой или левой щеке ему повернуться, чтобы успокоиться под изучающим взглядом нахального путешественника.

Умышленно ли закладка оказалась на пятой главе второго тома, да он и не скрывал, а напротив – выставляя свой интерес: «Адепты и маклера проституціи». Моя спутница, едва удерживавшаяся от хохота, наблюдая обезьяний поединок, неожиданно легко прикоснулась ко мне и шепнула: «Он спит». Именно в это мгновение я, отведя взгляд, разглядел на его саквояже маленькую металлическую планку с надписью:

Mantis Religiosa.

Спутница сняла перчатки и спрятала свои ладони в мо-

их, наши головы склонились, поцелуй был невинен и более походил на неведомое мгновение погружения в сон; открыв глаза, я увидел родимое пятно у ее левого виска, темными извилами улиц убежал я от наступающего рассвета, от многозвучной ясности, когда поезд остановился на небольшой станции и вкрадчивый металлический голос на перроне медленно произнес:

«*Mantis Religiosa*, Богомол, насекомое, способное даже с отрезанной головой найти самку и совокупиться с ней, в силу независимости центров, управляющих половой деятельностью, от высших центров».

Одно движение, взгляд в зеленое стекло (с переливающейся темной жидкостью) глаз соседа – чудовищная догадка, и я увлекаю спутницу из купе, из вагона на перрон. Она трогательно трет глаза кулачками и, не протестуя, доверяя полностью моему порыву, говорит: «Я забыла в вагоне перчатки». Как скрыться от холода этого сна?

Я знаю, что узкими улочками старого города, в котором мы оказались случайно, поплывет ее неторопливая жестокость, забирающаяся в самые укромные переулки, за сотни лет привыкшие к зазубренному лезвию женских исповедей.

– Дело в том, – скажет она, что я не люблю тебя; но ты не особенно переживай, потому что тебе это снится. Мы оба успели вкусить отравы. Задолго до этого сна. И в доме – все-

го в нескольких шагах отсюда – всегда пустует небольшая комната. Мы пойдем туда, двери откроет молчаливая женщина, она поведет нас по узенькой лестнице наверх, в пустующую комнату, она постелет и уйдет, и я тогда скажу тебе: проснись, мой милый, я не люблю тебя; и ты не поверишь, и тогда мы погасим свет, медленно разденемся, не глядя друг на друга, и ляжем, и будет холодно, но я обниму тебя и прошепчу, касаясь губами твоего лица: я не люблю тебя...

По счастью в этот ранний час нашлось маленькое кафе, где за низенькими столиками уже пили кофе несколько посетителей, а мы чертовски проголодались, блуждая узкими улочками старого города. Покончив с пирожными, она поднесла маленькую чашечку с кофе к губам, и я снова сумел разглядеть родимое пятно на ее левом виске. Она пила кофе маленькими глотками, а я переводил взгляд с родимого пятна на ее губы, на прядь волос, которая волею случая может скрыть родимое пятно, и думал об одном: неужели она допьет кофе?

Направляясь к вокзалу, мы пересекли площадь с отмеченным посередине местом костра для еретиков (эротическая подкладка преслѣдованія вѣдьмъ), какая-то шальная мысль или первые прохладные солнечные лучи или отзвук давно позабытого напева заставили меня взглянуть на небо. Этого мгновения хватило, чтобы площадь наполнилась людьми;

я в растерянности бегал по улицам, объясняя прохожим, что моя спутница потеряла перчатки, пока не оказался в зале ожидания почти безлюдном, если не считать веселого худого старика с футляром от скрипки и с обезьянкой в забавном темно-малиновом камзоле. Старик вежливо поклонился мне, и я обессилено опустился в уютное кресло... Все кончилось просто.

Не обязательно обладать совершеннейшим зрением, чтобы увидеть, она читает четвертую главу второго тома: «Любовь, какъ произведение искусства»... Мое присутствие раздражает ее в той же степени, что и развлекает. Поэтому я не позволяю ей произнести, застав меня врасплох, давно охлаждаемое *у х о д и*, я просто ухожу.

В любом сне всегда темные и белые пятна: как ни бейся, либо прослывешь мистификатором, либо породешь проstackов толкованиями. Ну что из того, что заснув в уютном кресле зала ожидания на вокзале некоего города, неожиданно обнаруживаешь обезьян в собственной кухне (что-то мешало заснуть), со временем станет традицией любое калечащее твой сон наваждение объяснять обезьянами в кухне. И наступает счастливый миг, когда обезьяны успокаивают, музицируют в свое и твое удовольствие, поглядывают на вошедшего с опаской и легким раздражением, как бы не сбить-

ся. Я прислушиваюсь, но тщетно, совершенно невозможно угадать, поди, разберись: Гайдн, Мендельсон или А. Берг?

Легкий ужин музыкантам не помешает, даже в столь позднее время. Надеюсь, мои действия не выглядят подобострастием, было бы забавно. Обезьяны откладывают инструменты и ноты и рассаживаются вокруг стола, с одобрением поглядывая на мои перемещения от плиты к столу. Теперь я точно не усну. Пока они степенно ужинают, изредка перебрасываясь короткими риторическими восклицаниями, я примеряю, как шляпу, свою первую фразу, которая должна позволить без стеснения войти в незнакомое моему интеллекту избранное общество. Закончив ужин, они сдержанно благодарят и вновь рассаживаются с инструментами и нотами вокруг меня.

Спокойная и безнадежно светлая мелодия разрушает мою вдохновенно благо скроенную фразу, и я неожиданно говорю:

«Я не любил ее, господа!»

август, сентябрь 1987г.



Острота ощущений (тушь, перо, 1993г., Л. Захарова)

Фаталитет

Повесть в пяти частях

1. Фаталитет

Je suis èreintè comme un cheval de poste.
[T]

Я заморен как почтовая лошадь.
(граф Толстой)

Неслыханная свобода, которою я пользовался, наводила на всех уныние. Но я более не перемещался. Путешествиям был положен конец. Диковинные деревья произросли на каменных тропах.

Оказывается, я не хотел писать никому. Как была приятна иллюзия. Пишешь письмо, представляя себе человека. Блестящее представление, все в белых одеждах, только автор щеголяет в черном костюме, финал, к вашим услугам, ваш покорный, ваш непокорный, вечно ваш (tout à vous) с поцелуями у ваших ног. Преданность, галантность, игривость, фривольность. Мне отвечали редко. Я казался всем алхимиком, знающим рецепт, якобы для меня не представляет труда.

Довожу до вашего сведения: мне требовалось многого.

В конечном итоге более других это понимала Индрианика. Один (только) человек, который не существует, является в разных обличьях под разными именами – говорит о том же. Кому как не автору не приходится скучать.

Распорядитель ненавидел меня. Он любил говорить и плохо понимал изложенное на бумаге. Юный Старец Изрекающий: нулевые истины, неизменные и постоянные, и не помышляющие об Абсолюте. Моим временем он распоряжался по своему усмотрению, – Распорядитель. Веселый житель держал меня в четырех стенах, отпуская на время только в пыльные коридоры чужих исповедей. Они не станут моими. Слова и слова. Слуги и господ. Слово. Слуга двух господ. И прочие отношения.

Итак, в чине триумфатора я приближался к истине угрюмой.

Следовало бы сделать сноску и пояснить выгоды триумфального отступления. Всему свое время. Чисто выбритого читателя, имеющего представление о выправке, сроках ношения ментика на левом плече внакидку, шрамах, отступлении и терпеливости, – жалуя шпорами!

Веселый житель поселился во мне и старался без особенной надобности не отлучаться ни на минуту. Сделай я шаг

к двери – и веселый житель (дремавший?) напоминал о себе голосом монотонным печальным: «*circulus viciosus*». Заколдованный круг, вписанный в четырехугольник. Функция веселого жителя – возводить невидимую преграду, вызывая в глубине существа моего истерическую рябь на мраморной глади: засохшие деревья ли – не лики на древе февралей, рефалей, – и застывшие травы, Натали, Фатали, голова идет кругом, черный пес скалит пасть, будет преданным другом.

Когда мелодия трогает сердце, бездна оказывается неглубокой.

– Сколь призрачна дружба, – твердит Распорядитель, – как раз то, что сближает души, служит затем верную службу бледному бескровному (словно удушение) междуусобию, особенно, когда зима! Призрачна, молчите! Они ославили даже ту, которая любила дольше и изошренней, смутные тени, стертые забвением, стертые крохотным лучом прозрения...

О неравенство богов и богинь!

Распорядитель, оскорбленный и раздраженный, скрывается в боковой аллее. А я попадаю в объятия Натали и разглядываю в зеркале открытую короткой стрижкой безжалостным неотвратимостям незащищенную нежную шею её. Грядет поэма песен в двадцать пять... и фортепьяно вечером. Удаляемся, удаляемся... Неотвратимость неутолимо-

сти. Второй час ночи.

Затмение:

я отвергал даже мысли о путешествии, они были такими же ужасными, как желанные гости; желанные гости приходят, когда сам собрался в гости. Приходится начинать с нескончаемого, которое раздражает принужденностью. Однажды вечером у меня был голос смертельно уставшего человека. Я промолчал весь вечер. Ночью я присел на диван и, почувствовав, что засыпаю, произнес: – «Пора покончить с путешествиями».

Слово *путешествие* обладает магическим свойством отгонять сон. Я не смог заснуть. В голове стоял звон скрежет гул первого шага (легиона).

Благодарение ручью, извилистому ручью, фантастическому ручью! Едва слышный в дрогнувшем воздухе плеск (мгновение – и ничто не остановило бы новую бессмысленную битву железного воинства с ослепительно белым драконом), ручей плел незатейливую мелодию, не замечая выгорающих полей, чернеющих полей, заснеженных полей; тускнея, ручей еще верил в будущий свет, но мутная пелена рассеивала самые наивные надежды.

Мы прогуливались с ней у потускневшего ручья. Было довольно холодно, но мы дрожали не от холода. Мы говорили, рассеянно обмениваясь случайными словами, словно необязательными поцелуями: – ломала тростник, чтобы дышать под водой и думать о тебе... – рисовал тебя на клочке про-

мокашки, контуры твои расплывались, я не жалел чернил.

Мы не обратили внимания на место, где совсем недавно журчал, извиваясь, играя кольцами, прохладный ручей; её маленькая ножка проколола каблуком тонкий лёд и из дырочки пискнуло. Я держал ее за руку, и наши руки давно знали то, о чем мы еще не говорили и старались не думать. Она говорила о странном стечении обстоятельств, о том, что все обстоятельства текут к одному морю, теплому морю (прохладных глубин), о теплоте (было холодно, руки замерзли, хотя мы дрожали не от холода). Мы шли всё быстрее, хотя я и не замечал этого, но она раньше меня поняла, что несколько деревьев, сбившихся у дороги то место, куда я стремлюсь, и всеми силами она вела нас именно туда.

Мы остановились среди деревьев и потянулись друг к другу. Холодные губы, щеки, ломающиеся с раздражающим треском пальцы в пуговичных петлях.

Теплота не бывает мгновенной: в ней тысячи бесплодных часов ожидания прикосновения, тысячи пасмурных дней ожидания шепота, тысячи горестных лет ожидания конца (... , – говорила она, поднимаясь с земли, застегивая пальто, – ...?).

Я прекрасно слышал её, но молчал, сохраняя на лице выражение невыносимого счастья, словно мне, герою мимолетного сна, наяву готовились вручить с медлительной торжественностью изумрудный орден ящерицы.

Фаталитет!

Натали (la parfaite amie) спустя несколько лет в дружеской компании: «Мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». И потом долго смеется, ибо объяснения прозвучали бы оправданием, толкованием.

– «Фаталитет!» – с презрением бросила в гущу внимающих насмешников Индрианика.

С Натали у нее были свои счеты. У каждой был свой крест, свой перекресток. Я же благополучно отворачиваюсь, предпочитая норд-норд-вест.

Белый дракон нервно подрагивает хвостом, железное воинство переминается с ноги на ногу. Над тяжелой дверью некое подобие герба Крестоносца: ящерица на изумрудном поле (с отбитым хвостом) и застывший в полете тяжелый осенний лист, остальные детали герба не угадываются, хотя Крестоносец и придирался к каждой мелочи. Хотя Крестоносец и придирался к каждой мелочи, Острогляд не обижался: он понимал природу раздражения своего покровителя, молча сносил насмешки. На исходе второго тысячелетия Крестоносцы особенно жестоки и немилосердны, думал Острогляд, да и всегда они отличались непреклонностью. Крестоносец отпустил Острогляда в свою комнату, где того ожидала угрюмая муза, а сам принялся за скудный ужин. Он видел сквозь цветные стекла высокого окна каждого, кто безликой дрожащей точкой возникал на горизонте и, медленно увеличиваясь до размеров собаки (чаще всего это были именно собаки – отсюда и эталон), подходил к дому Остро-

гляда.

Веселый молодой человек с яркой внешностью счастливица, прозванный Крестоносцем якобы в насмешку, открыл окно и перевернул блюдо с остатками пищи; собаки, дремавшие у дома, молча бросились к костям. Он долго наблюдал за воющими псами и поэтому не заметил Индрианики. Острогляд называл ее Ночной Гостьей, Ночницей и боялся необъяснимо, как боятся змеи. Пока Ночная Гостья поднималась по лестнице, ступая неслышно, Крестоносец вернулся к столу, не подозревая о приходе Индрианики, а Острогляд, забывшись в теплом искрящемся тумане, вливающимся в его глаза, терзал ослепительные листы железным пером; на исходе часового одиночества у него получилось следующее: «Две тысячи лет бесплодного течения Слова вспять, нескончаемого Солнца, слепящего немногих, отчаянных исповедей, тонущих в горячем песке, и стоны угасающих глаз две тысячи лет (пока Ночная Гостья с превеликой осторожностью открывала двери в комнату Крестоносца, а Крестоносец ставил тонкогорлый кувшин с райским вином на высокую полку, поддерживаемую двумя сверкающими черным лаком гиппогрифами), – Острогляд выводил мягким пером: – две тысячи лет гипнэротомехии, покоя и сна, вожделения и движения, бессилия и волшебства; две тысячи лет плывущих в сладостном скорбном потоке сверкающих тел, вспыхивающих губ, ищущих рук и переплетающихся голосов, остывающих две тысячи лет».

– «.....», – презрительно бросит Madame Lamort, перечитав сочиненное Остроглядом.

Острогляд пока продолжает, а Ночная Гостья уже говорит: «Ты ждал меня?» Она опускается в кресло, а Крестоносец ставит на маленький столик тонкогорлый кувшин с райским вином и не перебивает Индрианику, пока она говорит, медленно говорит, наслаждаясь тишиной и своим тихим триумфом.

– Я добилась своего. Проклятый лабиринт зеркал, лабиринт расставаний и прозрений, прохладное блаженство отражения девственного сна; я рисковала своим обликом, своей внешностью, своим будущим, своей репутацией. Ради тебя, мой сумасшедший упрямец... Что мне от этого? ни славы, ни удовольствия, а тебе так приятно нести свой крест, не выходя из этой башни, заселенной мерзкими веселыми жителями и невежественными грубыми распорядителями. Сама не понимаю, зачем я столько делаю для тебя. Острогляд влюблен в меня и даже сам пока об этом не знает, а я знаю и предопределяю: он придет ко мне слишком поздно и найдет холод-холод-холод... Бедный мальчик придет слишком поздно. Теперь – тебе: завтра вечером. Предупреждаю, мои друзья будут рядом. Я не хочу показаться кому-то сводницей. Всё произойдет случайно. Ряд обязательных случайностей. Твоя очаровательная монахиня еще не знает, что попала в мои сети. И ее присутствие неизбежно, как неизбежны ее слова, внезапное головокружение после танца. Всё

решится в один вечер: или она потеряет голову или вернется в свой монастырь. Последнее: не вздумай являться со своим оруженосцем, исключим сразу же такую неприятную случайность; тем более что твоя монахиня его знает. Всё, милый.

Крестоносец еще некоторое время смотрел на Ночную Гостью, но она, пригубив фиолетовый бокал, прислушивалась к ощущениям, – тогда Крестоносец стал перед нею на колени, не поднимая глаз...

2. Затмение

Nous ne somme pas au monde. C.

(Нас нет в этом мире.)

Кортасар

– Я не хотел бы случайной встречи. – Ты смешной! – Этот вечер будет долгим и принесет мучения. – Но ты любишь мучения. – Я начинаю плести чепуху, выбирать и угадывать, у меня дрожат пальцы, я перехожу из одного дома в другой, меняю лица, стараюсь не забывать печальных обстоятельств последнего визита и сдерживаюсь, чтобы не запеть. – Тебе нужно поскорее уехать из этого города. – Стража у городских ворот настроена против меня...

Крестonosец (проклинаящий пророческую кличку) подошел к дому Острогляда в сумерки, трудно было отличить тропинку от садовой калитки и ни разу не споткнуться, молча – как и подобает герою, с отвращением отвергающему комические оплошности этим вечером, прекрасным осенним вечером, так близко отстоящим от зимы. Зима безжалостна и милосердна и угадывает уготованную ей жертву с точностью ясновидящей особы с ироникопоэтическим именем *Tristes tropiques* (печальные тропики – плод мыслительного рефлекса Острогляда).

Медлительность в сумерках незаметна, хотя у постороннего наблюдателя вызывает подозрения: что-то происходит,

зловещий участник раздумывает, взвешивает последствия случайного шороха и необъяснимо точного движения левой руки к пряди волос, сужающей кругозор. Фантазия постороннего наблюдателя бегло дорисовывает значения ряда других (несущественных, несуществующих) жестов, угрожающего поворота головы в его сторону и призывает к бегству.

Может быть, именно звук чых-то торопливых шагов приводит Крестonosца в чувство, и он не решается заходить этим вечером к Острогляду, на скорую руку придумав опасения по поводу возможного присутствия этим вечером в келье Острогляда упругих прелестей *Tristes tropiques* (стесняя, балагурить? Увольте). Ни к чему, думал Крестonosец, гнать почтовую лошадь, допишу послезавтра в другом мире, где самолюбие дешевле чернил, а чужие музы не вмешиваются в споры с призраком: о, как сказано.

Ряд симультанных видений: левое крыло собора между тремя и четырьмя часами (удобное место) в ожидании красного (предупреждающего, запрещающего) шарфа из мрака арки; степень триумфа имитатора убийства, равная степени погружения в сон, в умиротворенность (преступной) необратимости обладания, в очистительный огонь вспышки – пламенеющий мрамор ненавидимого тела.

Все краски далекого сада в конце вечности, обратившейся в безвольный пепел: дар молчаливого сочувствия у пламени небольшого костра, о как не успевает (запоздалый импрессионизм) ослепительное пятно метнувшейся фигуры в глу-

бине прошлого священного сада: поздно, поздно, благодарю, огонь будет долгим – пепел вспоминается долго («смертный полет»), но ты любишь мучения...

Unknown French painter of the 16th century? Portrait of an Unknown Man... Oil on panel 48,5x32 cm... (Неизвестный французский художник 16 века? Портрет неизвестного мужчины... Масло на панели...).

Сдержанность и спокойствие перед неизвестным (непознанным, непознаваемым, – продолжил бы Острогляд); левое крыло собора около четырех (укромное место: ветер, мокрый снег) в ожидании вспышки запретного шарфа из мрака арки чужих триумфов (мрака случайной комнаты, позднее, после шести): этот вечер будет долгим и принесет мучения; надейся; до скорого (как болит надрезанное благословенным норд-норд-вестом ухо)...

Левое крыло собора около четырех далеко – этим прекрасным осенним вечером, таким далеким от вечера мокрого снега и неопасного ветра. А полукруг колоннады собора – тот же издевательский сарказм заколдованного круга, напоминание.

Опьянение норд-норд-вестом, сигарета гаснет: мокрый снег, снегсшибательное укрытие, которое не укрывает от тихого хохота черного провала арки несовершившегося триумфа. Крестonosец выходит из укрытия (я начинаю плести чепуху), переходит дорогу: будет то, что будет.

Мокрый снег, норд-норд-вест, симультанность наивна: ви-

димось границ, когда ненависть к красному шарфу безбрежна (отнюдь не имитация ненависти-любви), кафе рядом, но с видом на ист. проспект, а не тесную холодную арку; кофе не обжигает, между двумя глотками: тебе нужно поскорее уехать из этого города...

На расстоянии замерзающего дыхания красный шарф представляется святым, под ним доступная неправедным грезам артерия фантастического сна, сраженного неосторожным прикосновением («Гипнэротомасия...»).

– Поздравляю, мой мальчик, ты предпочел кривые зеркала памяти кривым серпам Памяти, ты не соберешь урожай, но рассмотришь стадии развития плода, я пью за твою наивность.

Распорядитель, посветлевший и помолодевший, вынырнувший из боковой аллеи. Лишняя чашка кофе, оказывается, предназначалась ему. Распорядитель распоряжается... Он заполняет пространство веселящимися гостями: обязательный уродливый шут и обреченный король мгновения и глупая красотка, королева мимолетного взгляда... множество смазливых мордашек и отчаянно смелых декольте. Волшебная бутылка шампанского...

– Пью за твою жестокость...

– Команду к канонаде!

– И за самое пленительное на свете наслаждение – наслаждение ложью («нулевая истина, неизменная и постоянная, и не помышляющая об абсолюте»).

Неслыханная свобода, которую я пользовался вовсю, наводила на меня угрюмость.

– Что-то со мной произошло прекрасным осенним вечером, Мефи; солнце ли жгло пуще обычного, портреты, неясные портреты ли блуждали в жарком воздухе, дурацкая штука память, я не узнаю лиц, хотя знал их прежде; не ты ли населил мою жизнь множеством безумных, рассеянных, самовлюбленных, насмешливых, дерзких, полых, угрюмых гостей? Некоторым из них я дал имена, но тела их рассыпаются в прах при легком прикосновении яви.

Мефи торжествующе улыбается, разливая шампанское по фужерам. Индрианика подхватывает фужер и приближается ко мне. Древний анекдот из ее уст звучит принужденным предупреждением, она фантазирует с неявным для меня умыслом, смысл анекдота ускользает и витает над веселящимися бесплотными гостями; я позволяю себе усомниться в уместности древнего анекдота, как и в естественности помыслов Индрианики, лепечущей на языке *Tristes tropiques*: «Не убоявшаяся постоянства разлук, следовательно, изучившая науку наслаждения вечным ожиданием; через десяток лет она была настолько совершенна, что воображение ее владело невероятными расстояниями; он блудил с десятками разноязыких пленниц, а она плакала в ночи от неизъяснимого блаженства... Варварская пехота, ворвавшаяся в ее покои, с грохотом повалилась на колени, узрев в содрогающейся на высоком ложе пылающей плоти высшее божество».

Именно эта заминка (соль древнего анекдота!) и трехдневные жертвоприношения и странные обряды спасли империю от разгрома, а ее мужа от нежелательного упоминания в послужном списке... Мефи хохочет: «Воображение и фаталитет! Вообразите себе, какова встреча, каково пересечение! Искусный вообразитель, таким образом, обречен на милость Индрианики!»

Индрианика, улыбаясь, допивает шампанское, левое крыло, крыло собора около шести и сумерки разглядывает она в нестерпимо чуждых зрачках. Зрачки Индрианики опалены протуберанцами невидимого солнца (фаталитет), затмение: мы запутываем друг друга опасными разговорами (прелюдией), заранее заключив договор о неприкосновении (непроникновении). Слишком откровенна Индрианика, договор скрепляется запретными воспоминаниями, упоминаниями о первом слове; каково разочарование Мефи, деликатно устремившегося в толпу танцующих, уверенного в несомненной передаче власти... По замедленному ее шагу я понял, что прогулке конец; следовало бы понять: приличия (самая усовершенствованная их форма), приличия и независимость шага, и хладнокровие (подлинное), желательно что-нибудь обидное для Индрианики напоследок (этим прекрасным осенним вечером) из укромного укрытия левого крыла собора.

Крохотные белые драконы изредка залетают в левое крыло собора напоминанием неизбежной веселой битвы в чер-

те circulus viciosus; легионы сумерек безмолвно стекаются на крохотную заколдованную долину между левым крылом собора и аркой мучительного триумфа: жаждущий света, покойся во тьме (музыки шаг угрюм); что еще стынет в этой зиме: мальчик? рефаль? июнь?.. Смотришь, гадая, июнь, рефаль, зимние чудеса? Или ночной холодный вокзал выпустил черного пса? Жаждущий света, покойся во тьме, да не страшит оскал; черный пес кружит по зиме, стынет ночной вокзал.

– Я не в тебе, – смеется Веселый житель, – я вокруг тебя; передвигаясь, ты постоянно находишься в центре и никогда не ступишь на окружность, поэтому – я повсюду, я неуязвим, пусть воображение и подсказывает тебе самые изощренные способы моего уничтожения; вообразив, а затем и поверив, ты будешь вынужден верить и бояться меня каждую минуту, испытывая, однако же, и беспокойство при моих длительных отсутствиях, при моих разъяснениях... Теперь постарайся заснуть, повторяя экзотичное имя, равноудаленное от левого крыла собора и от приближающейся к тебе истины угрюмой...

По замедленному ее шагу я понял, что прогулке конец. Крохотная заминка и Индрианика спокойно рассматривает трофеи: медленный свет нерешительности и вспышку страха прощания, поглотивших левое крыло собора и озаривших вечную пустоту проема арки неминуемого триумфа прекрасным осенним вечером. Индрианика скрывается за тяжелой

дверью, над которой угадывается некое подобие герба: застывший в полете осенний лист и ящерица на выцветшем изумрудном поле.

Февраль 1987г.

P.S. Из индийской культуры: Удовлетворение же они получают после полуночи в позе «индрианика» (женщина лежит на спине с расставленными согнутыми ногами).

3. Хроника

Malbrough s'en va-t-en guerre. Dieu sait quand reviendra.
(Малброу уходит на войну. Бог знает, что будет дальше.)

Холодным февральским вечером в теплой келье Острогляда мы лениво обговаривали детали предстоящего темного дела, темного потому, что последствия должны были сыграть в жизни нескольких человек роль, отнюдь не светлую. Несомненно, в центре заколдованного круга стояла весьма известная нам особа, вокруг располагались с неспешной чопорностью откровенные злодеи, юные глупцы, залгавшиеся честолюбцы и пр. Не очень много. Я не собирался никому мстить. Хвост у ящерицы отрастает весьма скоро.

Меня несколько раздражала манера Острогляда делать пометки на бумаге, когда кто-то устно выстраивает систему шагов, жестов, фраз. Я оборвал речь на полуслове, отнял у него лист и представил себя дураком. Острогляд явно посмеивался над моей излишней серьезностью, угрюмой и непреклонной.

Как полезно бывает вовремя обратиться на запасную позицию самоиронии.

Каллиграфические экзерсисы Острогляда были преду-

преждены вытянувшимся в струнку, но сохранявшим даже в написании лукавство, затынутым в иноземный мундир словом *диспозиция*. Далее без околичностей начинали свой марш бесчисленные колонны:

первая колонна марширует и смешивается с признаками пейзажа для финальной картины; вторая колонна марширует по направлению к Петербургу (изначально – болоту), где и погрязает; третья колонна, маршируя на месте, защищается от прямых лучей солнца *Revue des bèvues*; четвертая колонна отступает в беспорядке, смешивая теплые и холодные тона; пятая колонна марширует к Авиньонскому кварталу, теряя лучших стрелков; шестая колонна марширует по глади морской (мрамор), предварительно обернув подкованные каблуки полотном захваченных вражьих знамен; седьмая колонна марширует, сверкая штыками и трепеща; восьмая колонна марширует подобно второй; девятая колонна, маршируя в ущелье тесном строфы, подчиняется фатуму благозвучия; десятая колонна марширует в направлении *Bataille des Centaures et Lapiti* (Битва кентавров и Лапити)...

Боже, какой дурак, думаю я, а вслух произношу неожиданно: «Недурственно».

– Итак, маршируем, – усмехнулся Острогляд. – Полагаю, во главе восьмой колонны... – И никаких соучастниц... – И никаких... – Думаешь, она приходит домой так рано? – Все равно наши пути пересекутся. – Но что ни говори – она божественна. – Особенно, когда врёт. – Сворачиваем, я знаю

кратчайший путь. – Ну и темень! Долго еще? – Час сорок с небольшим. Поправка на темень. – О чем ты будешь говорить с ней? – О поэзии. – Печальных тропиков?

Печаль ее мимолетна, одного прикосновения-шепота: войны не будет, – так мало... Я разглядываю в зеркале открытую короткой стрижкой незащищенную шею Натали: как невесомо ее тело, подавшееся ко мне от зеркала; почему она закрыла глаза? Сегодня ничего не будет, что-то со временем (в открытую форточку холод не входит), время бредит, а часы бьют два раза, нас двое, следует запомнить каждую подробность в ее зрачках (затмение).

– Тогда было по-другому, представляешь, мы верили в бога, а он оказался сводником, я не знала, что так бывает; ну что же, я пойду, пожалуй, пойду, не надо: второй час ночи, третий...

Затмение.

Глупо стоять на перекрестке, Сильвио, оставив теплое кафе, не имея определенной цели; ничто не совершается без нашего участия, даже если мы застыли, но только не на перекрестке. Улица, по которой ты пойдешь, и, пересекающая ее улица, по которой не пойдет никто; дождешься дождя и вернешься в кафе, где ждет терпеливый и участливый Мефи, заранее заказавший лишнюю чашку кофе. Две тени скользнули в проем между домами, долетевшие обрывки разговора: «...будешь говорить с ней? – о поэзии... – печально».

Автобус чуть не перекинулся – на такой скорости поворот – и никакого вскрика ужаса: пассажиров всего – Сильвио, старик впереди и уснувший сбоку (даже не упал); теперь-то поосторожнее. Двери с трудом открываются, еще несколько человек в такой поздний час, почему-то красота села далеко от Сильвио. Черная шляпка, черное пальто и смертельно опасный красный шарф, красный шарф его гипнотизирует, даже полусон, какие-то разноцветные облака и непостижимое множество переплетающихся стеблей-мазков, растущих, извивающихся вверх – к ломящим надбровным дугам полусна...

– Простите, – вспышка красного шарфа перед носом Сильвио.

– Да... Да...

– Он пьян и говорит всякую чепуху, а я устала...

Она – под защитой Сильвио?.. или красного шарфа?

– Позднее время? Я задержалась в гостях, небольшое дело...

Сильвио, пользуясь правом собеседника, рассматривает ее губы, пухловатую нижнюю и тщательно выточенную верхнюю...

– Пустяки, я так мало бываю на воздухе, что радуюсь любой возможностью...

А кто придумывает имена? Мы привыкаем к именам, даже если ненавидим. Если бы можно было самому... Обыкновенный человек гнушается вымысла и держится обеими

руками за свое единственное имя, сотни привычек привязывают его к реальности,

только глупость иногда позволяет побыть королем...

Ну а безрассудство – тоже с позволения глупости?.. Безрассудство – некая предопределенность, природный фаталитет.

– Укроемся в свет фонаря, теплее... Что-то подсказывает мне – дома меня поджидают... это неприятно... старые долги, но почему именно женщина должна распутывать клубок? даже если запутала того, другую, третьего?

Гибкие женские пальцы справляются с клубком быстрее, мужчина предпочитает разрубить, разрезать.

– В такой поздний час, но я действительно боюсь, я давно не боялась, кто-то ждет меня, ждет от меня признаний и получит истерику в такой поздний час, потому что я не хочу признаваться.

Сильвио берет ее под руку: мы идем по берегу, и волны разбиваются рядом, они мне не знакомы, а я и не требую от тебя признаний, берег – начало суши, а суша (твердь) – это Бог, тогда как океан – дьявол... Она тихо смеется: «Схоластика?»

– Мой древний друг, – улыбается Сильвио, – величает меня Крестоносцем. Крестоносцы сильны, но не в схоластике, у них не хватает воображения даже для сочинения имен окружающим.

Она чуть прижимает его локоть: «Давая имена, мы полу-

чаем власть. Я придумала тебе имя и только тогда села рядом с тобой. Приоткрой форточку, накурено, потом покурим, а сейчас я оставлю тебя на минуту-другую, можешь пока приготовить кофе».

Сильвио лежит и видит себя в воображаемом зеркале потолка спокойным и удивленным. Кофе остывает рядом на столике. Мотивы сюжетов старых мастеров живописи, думает Сильвио, приглушив свет, и собирается в кухню готовить новый кофе, в дверях он сталкивается с ней, она с настороженной улыбкой проходит мимо и забирается с ногами на диван.

Боже, какой дурак, думает Сильвио, все еще думая о кофе. А она откровенно любит себя, поворачивается к нему, поднимаясь на коленях, спокойно (в союзницах – тьма) распахивая халатик, опускается на спину, откровенно любясь собственной медлительностью.

Даже во вневременные мгновения мы – без имен и прошлых мгновений, часовых, годовых колец (пробивающийся к теплоте и наполняющийся соками растаявших зим – росток), угасающий и вспыхивающий ритм покоя, – ослепительное во тьме (происхождение мрамора) упоение страхом. Явление природы, шепоток: метафора и страх – только прелюдия страха перед пустотой (воспоминания) завтра; интонации стоны (она слышит себя, упивается собственным стоном) непредсказуемым – каких струн коснутся поющие пальцы; только что знавшие несколько тысяч слов (начиная с: она

и он) и забывшие...

Только вселенная – О – пульсирующая, суживающаяся... Мгновения – интонация вселенной жалоба ручья, мгновение – торжество птицы, мгновение – удивление и угрюмая ласка, скользящая к налившемуся соску – конец прелюдии (она явно любит сумерками своей вселенной изнеможения), вспышка, смертельное сдавливающее кольцо ее рук, словно миллиарды мгновений покоя таили этот гибельный ритм, предсмертное – О – живого: и голос и стон едины (не потому ли ангелы считаются бесполоми? Мы – ангел, из нас две капли сливаются в единую песнь – всё звезды, всё млечные пути – всё единое тело, всё – теперь покой).

Глаза закрыты, дыхание исчезает, но Сильвио видит даже во тьме: какому старому мастеру живописи снилось это? – думается много часов, дней, снов, слов спустя. Сильвио видит во тьме упавший у дверей предупреждающий красный шарф.

– Кто тебя караулит дома, Индрианика? – спрашивает он её, откровенно любующую собой в воображаемом зеркале еще дрожащего воздуха.

Воздух полон видений, трехчасовое ожидание, бесплодное ожидание Острогляда – повод для хоровода бесплотных видений. Пугая случайных прохожих, Острогляд, прохаживаясь перед запертой дверью, довольно громко излагает диспозицию неутихающей битвы: «Одиннадцатая колонна марширует к погребку Ауэрбаха под прикрытием тьмы веков;

двенадцатая колонна марширует, понуриив головы, сквозь видения счастливых прошлых лет, подбадривая молодецким генеральским – *Јау реиџ* (Я боюсь); тринадцатая колонна марширует согласно конъюнктурным соображениям друзей угасших лет; четырнадцатая колонна марширует подобно второй и восьмой, а достигнув цели, совершает угрюмый маневр, маршируя к зимним квартирам предгорий гордого Кавказа; пятнадцатая колонна содержится в резерве, укрытая от неприятельского внимания левым крылом собора... Die erste Kolonne marschiert (Первая колонна марширует)...

Лукавый хохоток Мефи.

– Прогулка должна быть безмятежно пленительной, со множеством переулков и даже тупиков, а ваш марш к крепости обречен на неудачу, дорогой мой Сильвио. И вы не воспользовались блестящей возможностью...

– Мне, стало интересно, сломает ли сильный ветер ветвь у моего окна? Я забыл о своем намерении, – оправдывается Сильвио, грея ладони о горячую чашку с кофе.

– Чудно... Как только не оттягивает человек своей естественной кончины, – с наслаждением произносит Мефи, отставляя пустую чашку, поднося зажигалку к сигарете.

Февраль 1987г.

4. Отступление

*J'en suis fatiguée. Pars.
(Мне скучно. Уезжай.)*

В эполетах дождя волны желтых колонн входят в город, и лето уходит, и во влажной листве облетающих крон солнце бродит, растерянно бродит.

Каждую ночь я возвращаюсь к мысли, что прощание может быть долгим и мучительным. Бархатная протяженность ночи хранит эту мысль, не дает ей потускнеть. Я вслушиваюсь в легкомысленные печальные напевы, чтобы отчаяние не властвовало мною безраздельно. Неслыханная жуткая свобода слоняться по дому, стараясь не глазеть по сторонам, но только перед собой. Иногда удается так прожить несколько ночей. И все-таки встреча неизбежна, я не в силах поднять глаз, когда знаю, что он смотрит. И вот мы встречаемся взглядами, я застываю, я более не волен в своих словах и поступках, я только с ужасом жду приказания веселого человека, который старательно повторяет мои движения и смеется над моим страхом. Взгляд его ночь от ночи печальней и тяжелей, я знаю, он подбирает слова, слова приказания...

– Случайная последовательность событий, – говорит Мефи, – еще не проявление неизбежности, тогда как прекрасный осенний вечер, вписанный в полукруг колоннады собо-

ра, – только оскверненное воспоминание; Tristes Tropiques тоже оперирует воспоминаниями, и потому ее пророчества столь безжалостны, но пророчества это несовершенное будущее; мне мало охоты тебя утешать, обратись к логике... В глубине священного августовского сада укрытые зеленью прощальной листвы вы смотрели, помнишь, на мелодраматическое огненное аутодафе поверженного железным славным воинством белого дракона; обратясь в пепел, он получил свободу, вы же, несвободные, с упрятанными в клетки сердцами и не рождёнными помыслами, говорили о прежнем; ты – с ужасом перед неизбежным прощанием, она – с тоской после вымышленного прощения. Прощайте и будете судимы. Ожидания прощальной листвы. Ожидание неслыханной свободы, а неслыханная свобода и есть искушение. Далее – падение, увядание, тление. А в небесах вырвавшийся на свободу пепел уже складывал новые имена, которых ты не видел, увлеченный ее последней улыбкой.

Поздней осенью мы прогуливались с Мефи по набережной полноводной реки в пятнадцати минутах ходьбы от моего дома; совершенно не сговариваясь, мы подняли воротники плащей, не укрывавших от редких жестоких порывов ветра.

– Логика должна подсказать тебе, – отворачивается Мефи, что наивно ожидать практических плодов от поэтической реальности. В глубине священного августовского сада теплым вечером разгорается долгий огонь, раскаляющий

путья клетки, воспаляющий кровь; все дожди, угрюмые ветра, холодные звезды не достигнут долгого пламени, которое и есть неотвратимость; она согласилась, не правда ли?

– Да, неотвратимость. Согласилась, чтобы восстать, понимая вымысел надежд и фантастическую мгновенность помыслов: какое сердце? Какой век? «Не ищи живую среди мертвых», – говорил ее взгляд.

– И вы в глубине священного августовского сада без имен, без слов шли, медленно шли навстречу друг другу по мосту обретающего плоть предчувствия.

Необъяснимый Мефи. Он даже не принижает (в противоречии с канонами; в противоречии ли?), находя иное искушение, более пленительное и долговечное. Негласный уговор наш подразумевает неиссякаемость моей неслыханной свободы, неиссякаемость источников моей неслыханной свободы под сползающим небом зимы, под барабанной дробью входящих в город желтых колонн.

В глубине священного августовского сада погаснет год, а мы забудем и лица, и год, и сад, чтобы не узнать друг друга на зимнем перекрестке, у левого крыла собора, в случайном жилище, и диковинные деревья произрастут на каменистых тропах, от чужого смеха зашелестит листва, и сквозь новую листву будет ослеплять, безжалостно жечь заколдованный июньский круг.

Стрела пустынной набережной устремляется в бесконечность, теряется в пасмурном небе. Терпение Мефи иссяка-

ет, в последний раз глянув на серые воды медленной реки, он предлагает заглянуть обогреться к известной ему особе. Так мы оказываемся в просторной кухне ясновидящей особы с ироникопоэтическим прозвищем *Tristes Tropiques*.

Погасший год, утраченные воспоминания, неслыханная свобода, которая и есть искушение, архитектурная обязательность логики, услаждающая глаз, – все это занимает меня не долго. Дольше – высокая полка, поддерживаемая двумя сверкающими черным лаком гиппогрифами. Мы с Мефи располагаемся на длинной деревянной скамье и молча наблюдаем, как прорицательница разливает по длинным фиолетовым бокалам свой знаменитый напиток, возвращающий молодость.

– Рецепт эликсира достался мне вместе с пустым благоухающим флаконом от французских духов в наследство от прабабушки, блиставшей в свое время в салоне герцогини де Шуазель, – с улыбкой произносит *Tristes Tropiques*.

Мефи не притрагивается к бокалу. Я медленно выпиваю, смакуя каждый глоток.

Все ближе ночь и *Tristes Tropiques* с ее невинными фразами о золотом сечении ночи, по обыкновению она берет мою левую ладонь и заговаривает о двух женщинах, которых мне предопределено любить, *dead blank* (мертвая пустота), гибельные последствия неудовлетворенной страсти, участь угрюмца перед веселием лика в зеркале почетного отступления.

– Потом две женщины вымыслят третью, – сухо добавляет Мефи, – и она получит самые утонченные, самые безнадежные страдания посреди зимы междуусобий. От нее и натерпишься... Нельзя любить идеал, тем более им хвалиться, свешиваясь с крепостной стены.

Мефи придвигает мне свой бокал, и я, не задумываясь, залпом выпиваю волшебный напиток.

Конец вечности, погасший год и, между тем, внезапное веселие лика в тусклом кухонном зеркале: предвкушение стремительного течения крови в венах, невзирая на мистическую власть веселого человека. Пусть демон путешествия и ангел покоя спорят в прихожей над душой умершего, над брэнной оболочкой возрождающегося: не душа, а все-таки плоть покинет обозначенные неизвестно кем пределы и надолго сосредоточится на земном, сыграет с февралем в август, а со случайным прохожим в раздраженного двойника; какие бы воды не стремились к морям – тысячи лет течения Слова вспять возвращают меня на старую дорогу, играющую с первой встречной в перекресток.

Я задумчиво рассматриваю *Tristes Tropiques* сквозь фиолетовое стекло пустого бокала, и до меня издали доносится беседа, начало которой я пропустил, углубленный в собственные думы.

– Здесь обратная сторона трагедии, – с увлечением говорит Мефи, – не невозможность, а угаданные слова и последствия; что может быть скучнее? Тогда как непредсказуемость

любви только и способна лишить тело веса, а не раздавить его на земном ложе.

– Да, я подождала, пока он задержится в соседних пространствах, за стеной, – заговорила Tristes Tropiques, явно продолжая ранее начатый рассказ.

– Я подошла к окну, надавила плечом на раму, чтобы не было скрипа, открыла окно, взобралась на подоконник, потянула рукой платье со спинки стула (вспомнив, что...) и мягко опустилась на землю. Я сразу же повернула за угол дома и побежала по темной улице, все быстрее и быстрее, совершенно не задумываясь, что меня могут увидеть, окликнуть, прохохотать вслед, я бежала против течения теплого ветра и улыбалась и чувствовала, что улыбка придает волшебные силы моим ногам. Когда оставалось совсем немного до моего дома, я вдруг услышала бегущий за мной голос, голос пел песню без слов и смолк, как только я, испугавшись, застыла на месте. И тут же я засмеялась, странно догадавшись, что голос не за спиной, а во мне, и побежала, чтобы дослушать, запомнить.

– Нагая дева, бегущая в ночи, – печально усмехнулся Мефи, какому старому мастеру живописи снилось это?

И я вижу Tristes Tropiques совсем юной, какой я ее никогда не видел, она застывает на бегу, только волнуются, не успокаиваются ее еще длинные волосы, застилают счастливо раскрытые глаза, пока не научившиеся видеть невидимое.

Мефи и прорицательница совершенно оставляют меня в покое, я подхожу к треснувшему стеклу (ни отзвука, ни трепета, ни ран, и призраки зимы несутся прочь сквозь ветви опостылевшего сада), треснувшее стекло – к нему не приклониться, но приглядевшись – угадать странную нелепую гибель Крестоносца (крест трещин на стекле): автобус, перевернувшийся на перекрестке, осколок стекла, надрезавший сонную артерию, совсем не так много крови на снегу. Прохожий сказал: «Я-то решил, шарф у него развязался, а подошел ближе – кровь замерзла».

Внизу во дворе порывы ветра вперемежку с желтой листвой, погасший год, медленно действующий яд последнего письма, *medium aevum* (средний возраст), неслыханная свобода отступления от августа в февраль, железное воинство и удивительная покорность белого дракона: увы, менее всего почетно оказываться пророком и что-то видеть. Ненавидят не только врагов, долгая мучительная любовь рождает отчетливое желание причинить боль любимому существу, боль невыносимую, а потом кричать от отчаяния (ни отзвука, ни трепета, ни ран), кричать в хаосе разрушающейся гармонии, в глубине священного августовского сада.

Отступление.

J'ai peur! J'ai peur de te perdre. (Мне страшно! Мне страшно потерять тебя.)

И наяву был вечер, был палач, случайное жилище и угроза улыбки темной. Я решил: улыбке темной буду палачом

и в круг ступил, прикрылся темной маской, мечтая о невиданной награде – живой долине, медленном ручье улыбки темной и подземном токе весенних соков. Но была зима, и сном казалось, что дышало явью: убей и властвуй, век невдалеке черту пройдет, а там – одни виденья улыбок горьких, сумерки и тени усталых казней, только острый луч, черту минуя, настигает руку, убей же, и застынет век. Рука ее во тьме коснулась маски, смотри, смотри – назвавшись палачом, не рыцарем из древней сказки, лелеющим у крепости печаль, – мне страшен воздух, я дышу отравой, вдохни мне слово, что вдыхаешь ты... Но я молчал, палач был непреклонен, и век его закончился давно, он, руку опустив, смотрел в окно: плескалось зимнее холодное вино. Кто был палач? Кто был виновен?

Оказывается, я не хотел писать никому. Кроме вас. Неслыханная свобода обернулась иллюзией, в моей власти было немного: угрюмая отвага железного воинства в предчувствии жестокой битвы с белым драконом, две-три прогулки, сумерки случайного жилища и отступление.

Март, сентябрь 1987г.

5. Темные крылья

Ma che`re et douce amie...

Сразу же за сновидением проследовала мысль в светлых, почти прозрачных одеждах, и ветерки нового дня даже не коснулись: радость от неминуемого и долгожданного свидания забудется, подробности не для зрения (давнее предвкушение, предъискушение), узнавание будет катастрофически мимолетным; далее – молчание в такси, оправдываемое долгими улыбками, полными такого греховного значения... Только посмеешь произнести: «Призрак». И: – нет, дорогой, нет, милый, ради всего святого, включи свет, я чувствую себя твоей сестрой; ты же не хочешь, чтобы я удавилась в этой случайной гостинице...

А ее горячее бедро впитывает медлительную ласку странника, она забывает о нем, всматриваясь в запертую на два ключа дверь: танцовщица, готовая выпорхнуть из яви, развеять дурман плавных линий, волн, танцем-насмешкой. И радость забудется, медленные волны реки, растворяющейся в морях.

Сновидение не отпускает молчаливого гостя, там, в глубине длинного коридора единственное окно, выходящее во внутренний дворик, о существовании которого никто не знает, в замкнутом его пространстве дивный голос, милый

демон, демон лесты, демон мучительной судороги и демон покоя: ни птиц, ни детей. Сновидение не терпит метафор, поэтому мы спешим вырваться из его опутывающих ласк, нас будит серьезность и чужие слезы; вы прислушиваетесь к дивному голосу из запретной страны, но разум растворяет голос в непонятном слове Ангел.

Чуть раньше я отчетливо разглядел перед собой повелительницу вымысла, рожденную внезапным всплеском волны, повелительница не подозревала о губительных последствиях своей безраздельной власти, тонкой рукой она взмахнула и указала в сторону истока дремлющей реки, и я с изумлением и отчаяньем разглядел дрожащую звезду над недостижимой линией горизонта.

Звезда приближалась стремительно и застыла в нескольких шагах над широким письменным столом, сгоревшим еще до изобретения электричества. Зеленый язычок пламени едва заметно подрагивает, до изобретения электричества еще тысяча лет, несколько шагов к выключателю – вечность, которая пугает, заставляет вздрогнуть сердце смешного мечтательного человека, застывшего в сомнении над столом, человека в нелепой, старой, чужой со споротыми погонями, шинели; подробное описание его в совокупности с перечислением сдвинутой совершенно бестолково к одной стене тяжелой мебели походило бы уже на забытое сновидение, если бы не короткий взгляд на пестрые листы, расползающиеся по столу. В них изумрудная июньская трава и беззабот-

ные ящерицы, шорох легчайших облаков и хрустальные колокольчики ручьев; пасмурной ночью человек этот любит незатейливой игрушечной вселенной без голосов и людей, любит, пока ночной холод не возвращает его под суровое сукно явно великой для него шинели.

Значительно позже, карабаясь по почти отвесному склону во имя великого каприза безымянной свидетельницы еще одного сновидения, я повторял слова одного поэта: «Женщина – царица вымысла». Чтение я откладывал до лучших времен, о которых пока известно только дурное; удивительно, как мы не сорвались. Оказавшись в беседке с китайской крышей, я с беспокойством наблюдал, как свидетельница сновидения ступает по каменным плитам, дело в том, что она была босая, а повсюду сверкали бутылочные осколки. Впрочем, даже во сне я не смел поднять глаз на обнаженную, дивный голос ее плыл в бархатном далеке аллеи. Должно быть, она уже умерла, а голос слышался, – обычная история после самоубийства, – но не имени, ни облика, только голос, удаляющийся, влекущий... Умершие в сновидениях бывают нежны, как не были при жизни: ни лишних слов, ни значительных жестов, отчетливее вспоминаются улыбка и молчание.

Нежность умершей, радующая спящего, уничтожает зародыш мысли о смерти в миг внезапного пробуждения. Остается песнь – тогда, – когда-то приблизившая к мысли в светлых воздушных одеждах, мысли о неизбежном (там нет противоестественности) родстве, – и сблизит нас родство земли.

Глубоко под землей (умершие ли?) они плывут, не вслушиваясь в гулкие шаги над ними, плывут, сливаясь в темном потоке, и зрение их извилисто, и полнятся соками корни, горькими соками блаженной немоты и, как же иначе? Заранее разучено: наверху камень, над камнем – свет издалека, стремившийся века и века, и не достигший твоего зрения, и как узнать, сколько горечи было в глазах до смерти, а ныне – корни плетут сети: бессмертные существа – деревья – тела их живы в подземном царстве и над землей, где меньше разгадок, но столько теплых тайн. Пальцы застывают на прохладной коре засыхающего дерева, теперь просто рассмотреть отчаянную вспышку мысли: подземелье – детская игрушка воспоминаний, сохранившегося надземного – низкое земляное небо над давно разрушенным домом, а за намертво распахнутым окном, брошенная в кресло, шинель со споротыми погонями, неизменяющиеся лица, вздрагивающие от быстро взгляда сказочно огромной собаки (бессмертный пес младенческой мифологии) – поразительное чутье к свежести заглядывающего грядущего.

Я не покину сновидения, пока остается надежда остаться в нем навсегда и – наконец – разглядеть темные крылья, уносящие угрюмца в серебристые дали, где пиры вперемежку с чумой. Включи свет, ради всего святого – демон судороги, исторгший из омертвевших уст, как каплю воска, краткую песнь (...всего святого) в замкнутом пространстве внутреннего дворика, и вспышка во мгле темных крыльев ярче по-

следнего крика самоубийцы (...святого) – шепот: что таит прикосновение? – шепот-огонь, пальцы-воздух, память-вода, – стихии, заледеневшие в единый миг. Взмах темных крыльев, и волна земли настигнет угрюмство и песнь, и подземный лай встревоженного пса.

Возвращаясь аллеей недосмотренного сна, я внезапно рассмотрел китайскую крышу нелепой беседки, в которой рождался дивный голос; голос пел имена улыбок, пробивал бреши в непобедимой фаланге ночных заблуждений спящего, начни она свое безмолвное движение – раскаленные копы сомнения, жалости и бессилия уже покачнулись, устремленные в черепную твердь. Голос пел имена улыбок нескончаемого прощания, я различал не слова, а тысячи переплетающихся нитей – ни одной ожившей улыбки, ни одной спасительной подсказки памяти, только отчаяние, похожее на вечернюю усталость слепого. Только отчаяние верный спутник сновидения, отчаяние невысказываемое, длящееся тысячу лет в этой случайной гостинице с неправдоподобно длинным коридором, мерцающей точкой окна в конце, только отчаяние позволяет прикоснуться к приоткрытым губам спящей (в июньской траве, полной ящериц, прохлады живых губ, ветерков дыхания), и бесплотное облако медленно накрывает тенью шепот, шепот спящей: ты мне снился иногда... и там, во сне, я не боялась твоего прикосновения, когда ты робко проводил пальцами по моему лицу, пальцами – словно крылом, и я пела от радости, что мне снится прикосновение кры-

ла и мой голос... глупый сон, такого не бывает, но я слышала свою песню, теперь я проснулась, а у тебя нет крыльев, какая жалость... ради всего святого, включи свет.

Коридор нескончаемой сновидения, в полной темноте странник бежит к распахнутому окну, окну во внутренний забытый дворик, в замкнутом пространстве которого ни птиц, ни детей – только голос, дивный голос, прощальное эхо...

Февраль-март 1989г.

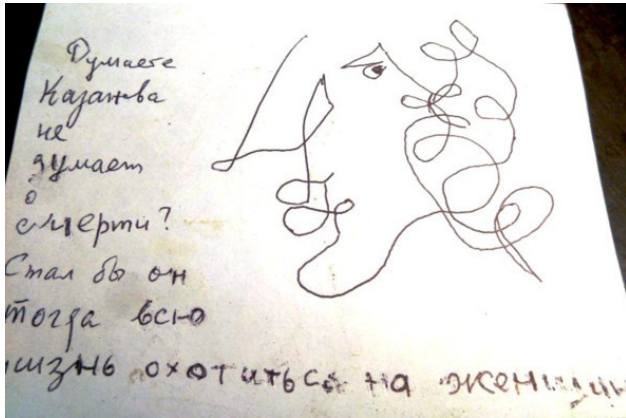


Рисунок автора И. Мазуренко

Ночь комедианта

Рассказ

1.1988

«Только не говорите, что вымысел вам приятен», – сказал оборотень. – «Более всего меня раздражает...» – начал я неторопливо, но оборотень выскочил на лестничную площадку и прокричал вслед удаляющейся вампирше: «Подумайте и помолчите... И мы расстанемся впервые без безобразного скрежета самолюбий и безвкусного смещения мнений! Мы расстанемся весьма довольные собой, упоенно повторяющие странную мысль: какие мы несовременные люди», – напевая и пританцовывая, направился оборотень в кабинет.

И его терпеть, подумал я сокрушенно, а вслух произнес: «Более всего меня раздражает склонность моих знакомых пересказывать свои сны. Первое: я почти никогда ни на грош не верю ни единому слову. Пусть какое-то слабое видение, колыхание тени, пусть знакомая физиономия с ирреальной речью, но увязывать все это в правильный сюжет с двумя-тремя погрешностями (странностями) для пущей веры... Чем длиннее сон, тем скучнее. Гораздо веселее слышать: – я видел во сне собаку... м-мм... она лаяла».

Оборотень замурлыкал, схватил карандаш, тетрадь: и второе?

– И второе, – промолвил я уже совершенно обиженным голосом, – глубокомысленные попытки толкования снов. Да, это интересно, но это области литературы, вторжения неуместны. А вы с толкованиями и с безумной жадой прикоснуться к дальним и близким источникам жизни будущей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.